

Махно Нестор. Моя автобиография

1920, источник: [здесь](#).

- [ГЛАВА I. Детство](#)
- [ГЛАВА II. 52 дня под смертным приговором](#)
- [ГЛАВА III. В тюрьме](#)
- [ГЛАВА IV. В московской тюрьме Бутырки](#)
- [ГЛАВА V. Попытки побега](#)

ГЛАВА I. Детство

По происхождению я из крестьян. Родился в небольшом городке Гуляй-Поле Екатеринославской губернии на Украине. Мои родители были вначале крепостными, затем вольными крестьянами. По рассказам матери, их жизнь во времена крепостного рабства была ужасной. Еще совсем ребенком она дважды подверглась наказанию палками: первый раз за то, что отказалась убирать в доме управляющего, потому что считала себя обиженной, получив пощечину от его жены; второй раз, когда в свободное от повинности время она не захотела идти вязать снопы за три копейки в день, заявив, что плата недостаточна. Оба раза управляющий доложил о случившемся «пану», который приказал ей явиться в помещичью усадьбу, на крыльце которого, ей всыпали по пятнадцать ударов палками в присутствии хозяина.

Своего отца я не помню, поскольку мне едва исполнилось одиннадцать месяцев, когда он умер. Он был крепостным того же пана, что и моя мать, некоего Шабельского, который жил в одном из своих имений неподалеку от села Шагарово, теперь Марфополь, в семи километрах от Гуляй-Поля. Позже, когда отец был уже вольным и женатым, у него не было других средств к существованию, и он вынужден был продолжать работать садовником у того же помещика. После моего рождения он оставил эту работу и нанялся кучером к Кернеру, богатому еврею, владельцу завода в Гуляй-Поле. Вскоре после этого отец умер.

За два года до его смерти мать начала собирать материал на постройку хаты для всей семьи. Она одна, с терпением, заготавливала кирпич. Когда отец умер, строительство хаты едва началось, стояли только стены.

Осиротев, я и четверо братьев остались на содержании моей несчастной матери. В недостроенном доме, без средств к существованию, одной с пятью малолетними детьми на руках, как ей было жить? Бедняжка, она потеряла опору, не знала [ни] за что взяться, ни кого слушать. Моя крестная, местная зажиточная крестьянка, у которой не было своих детей, упрашивала мать отдать ей меня. Старшие братья Карп и Савва тогда уже не были у нее на содержании, они нанялись пастухами к богатым хозяевам.

Мать позже рассказывала: «Мне было тяжело даже слушать это, но ничего нельзя было поделать... Слыша ее слова о безвыходном состоянии нашей семьи, я, в конце концов, согласилась...».

Между тем, мои братья много раз слышали рассказы матери о жизни и нравах помещиков, об их жестокости, особенно по отношению к крестьянам. Это запечатлелось в их памяти и однажды в воскресенье, когда они пришли к нам и узнали, что мать готова отдать меня этой богачке, они умоляли ее не делать этого. Надо ли меня отдавать этой богачке или оставить дома? - проблему попытались решить не словами, а с помощью слез. Мать, в конце концов, сдалась и решила оставить меня при себе еще на некоторое время. Прошел год, а положение семьи не улучшилось. Крестная вновь настойчиво требовала моего усыновления

и на этот раз мать, не колеблясь, согласилась.

Лишенный ласки, я прожил всего несколько недель у своей приемной матери. Кормили меня отдельно и нерегулярно. Мать заходила каждый день и очень страдала, видя, в каком положении я нахожусь. Однажды, застав меня одного и в слезах, она решила забрать меня обратно. С тех пор мать держала меня при себе и воспитывала, как могла, до восемнадцати лет.

У меня остались очень смутные воспоминания о раннем детстве. Когда мне исполнилось восемь лет, мать записала меня в сельскую школу. Я был хорошим учеником. Учитель был мной доволен, а мать гордилась моими успехами. Увы, это счастливое время очень скоро закончилось. Когда наступила зима и замерзла речка, под влиянием нескольких друзей вместо того, чтобы идти в школу, я стал убегать с уроков кататься на коньках. Это новое занятие настолько меня захватило, что целыми неделями я пропускал школу. Мать об этом, конечно, ничего не знала. Она по-прежнему думала, что утром я, взяв книги, уйду в школу, а вечером она считала, что я возвращаюсь со школы. На самом деле я ходил только на речку. Наигравшись и накатавшись до самого вечера с сотней таких же шалопаев, я возвращался домой с отличным аппетитом.

Эти уроки катанья прилежно продолжались до половины поста, когда все это вдруг кончилось. Мельчайшие подробности этого дня навсегда остались в моей памяти. Как обычно, мы катались с одним из товарищей, как вдруг лед треснул, и мы провалились в воду. Цепляясь за края сломанного льда и барахтаясь по шею в ледяной воде, мы стали громко звать на помощь. Увы, большинство друзей, испугавшись, убежали. Остальные не нашли ничего лучше, как кричать душераздирающими голосами, как и мы сами. Наконец, прибежали несколько мужиков и спасли нас в этой опасной ситуации. Я боялся возвращаться домой в таком виде, так как все мое прошлое, все мои героические зимние подвиги были бы раскрыты! Поэтому решил спрятаться у своего дяди. По дороге мокрая одежда замерзла. К дяде я пришел в таком состоянии, что он испугался за мое здоровье. Меня раздели, растерли водкой и уложили на лежанку. Затем тетка предупредила мать.

Встревоженная, она немедленно прибежала. Узнав все подробности происшествия, она уложила меня на бок и «полечила» своим способом - куском скрученной веревки... Долгое время после такого «лечения» я с трудом мог сидеть. Однако главный его результат состоял в том, что, начиная с этого дня, я вновь стал прилежным учеником.

К сожалению, эта серьезная учеба никак не отразилась на будущее. Недели за две до Пасхи несколько учеников нашей школы, в том числе и я, подрались после уроков с учениками церковно-приходской школы. В пылу драки мы поломали несколько молодых деревьев рядом со зданием волости. На следующий день сельский староста явился к директору нашей школы, чтобы узнать фамилии вчерашних драчунов и заставить родителей заплатить за ущерб. Директор провел расследование. Вначале никто не хотел сознаваться, но когда директор заявил, что он знает фамилии этих трусов, я все рассказал, выдав друзей, которым также пришлось признаться. В награду за мое чистосердечное признание я получил три раза линейкой по пальцам и должен был простоять целый час в углу класса на коленях. Из-за этого происшествия я чувствовал такой стыд и такое глубокое унижение, что больше не

захотел оставаться в школе. Сговорившись с несколькими друзьями, мы сбежали. Дома мы рассказали совершенно другое о случившемся и обвинили директора в том, что он выгнал нас со школы. Конечно, обеспокоенные родители пошли к нему за объяснениями по поводу такого наказания. Узнав правду, нас наказали и заставили через несколько дней вернуться в школу. Тем не менее, во мне внутри что-то сломалось: я больше не чувствовал никакого удовольствия от школы, и мое сердце больше не лежало к учебе, как это должно бы быть у девятилетнего мальчика. С большим трудом я выдержал до летних каникул.

С наступлением лета я нанялся погонщиком волов к хозяину по фамилии Янсен. Платили мне 25 копеек в день, то есть полтора рубля в неделю. Каждую субботу, получив эту сумму, я, преисполненный радости, почти бегом бежал 7 км домой, зажав в кулаке деньги. Прибежав, я немедленно отдавал деньги матери и был очень счастлив, когда она их брала, точно так же, как раньше, я видел, когда мои старшие братья отдавали ей получку. Теперь я тоже зарабатывал деньги и, как и они, отдавал матери... Мое детское сердце наполнялось радостью. Помню, однажды, я забыл напоить своих волов, поэтому по дороге они вдруг повернули и потащили повозку, груженную снопами, к водопою. В этот момент проезжал на бричке помощник управляющего. Это был грубиян, который получил у нас кличку «мухоед» за то, что держал рот всегда открытым. Он ударил меня два раза кнутом. От ярости я готов был убежать домой и только воспоминание о субботе и мысль о той радости, которую я доставлю матери, отдавая ей деньги, не позволили мне так поступить. Так я проработал все лето и заработал двадцать рублей. Это был мой первый заработок.

Наступила осень. Мать требовала, чтобы я вернулся в школу, но я решительно сопротивлялся. В конце концов, она уступила и перевела меня в школу соседней деревни Андреевки, где учителем был ее племянник. Там я вновь усердно взялся за учебу. Видя мое желание учиться и хорошие оценки, учитель, который приходился мне одновременно двоюродным братом, высказывал свое удовлетворение. Он надеялся, что я буду на экзамене первым учеником в классе. Моя энергия от этого удвоилась, и я начал учиться и вне школы, дома у своего двоюродного брата, который меня охотно поощрял. Меня ожидало «счастье» первым перейти в четвертый класс гимназии; мой двоюродный брат М.Передерий искренне верил в это. Увы, вскоре вновь глупый и банальный случай разрушил эту мечту. Однажды, когда я особенно расшумелся в классе, мой двоюродный брат выгнал меня с урока. Рассердившись в свою очередь, я пошел к нему домой, открыл буфет и взял мешочек слив. Расположившись на швейной машинке, я начал с удовольствием есть фрукты. Вначале я хотел только попробовать несколько штук, но они были такие вкусные, что сам того не заметив, я съел все сливы. Когда я как раз заканчивал этот маленький завтрак, вернулся двоюродный брат со своей женой. Рассердившись, он дал мне пощечину и поставил в угол на колени. Наказание длилось недолго, жена попросила его простить меня, что он и сделал от чистого сердца. Оказавшись на свободе, я пошел к друзьям и в гневе написал записку матери в Гуляй-Поле, умоляя ее забрать меня отсюда, так как в школе меня бьют. Испытав крепостное рабство и неоднократные побои со стороны своих хозяев, мать особо ненавидела это насилие. По ее разумению, только она одна имела право и долг, в случае необходимости, меня ударить. Поэтому, получив записку, разгневанная, она примчалась к своему племяннику и, не захотев даже выслушать его версию событий, увела меня домой.

Вернувшись в Гуляй-Поле, она сразу же отдала меня вновь в школу, в которой я начинал учебу. Невзирая на прошлое, меня приняли после контрольного экзамена. На этот раз я серьезно принялся за дело. Вскоре я стал лучшим учеником по математике и особенно по чтению. Будущее мне вновь улыбалось. Но второй класс оказался для меня последним. Положение нашей семьи стало настолько тяжелым, что проработав все лето поденщиком у хозяина, я был вынужден остаться и на зиму. Конечно, все мои братья - Карп, Савва, Емельян и Григорий - горько сожалевшие, что им пришлось бросить учебу, настаивали, чтобы я оставил работу и продолжал занятия. В ноябре 1899 [года] я, в конце концов, бросил работу и вернулся в школу, но было слишком поздно и не оставалось ни одного свободного места. Я был вынужден вновь вернуться к Янсену. Так закончилась моя учеба.

Все эти злоключения, а также тяжелое положение нашей семьи, естественно, заставили меня задуматься над тем, что для меня важнее: школа или же работа, которая давала мне двадцать рублей за полгода? Именно в это время я начал испытывать гнев, злобу и даже ненависть по отношению к хозяину и, в особенности, к его детям: этим молодым бездельникам, которые часто проходили мимо меня, свежие и бодрые, пресыщенные, хорошо одетые, надушенные, тогда как я, грязный, в лохмотьях, босоногий и вонявший навозом, менял подстилку телятам. Несправедливость такого положения вещей бросалась мне в глаза. Единственное, что меня успокаивало тогда, было довольно детское рассуждение, что это в порядке вещей: они были «господами», а я работником, которому платили за неудобство от вони навоза.

Так прошло два года, я продвинулся в карьере, поменяв телят на коней. Там все стало еще более впечатляющим. Часто я видел, как сыновья хозяина грубо били конюхов, в особенности за то, что «кони были плохо почищены». Но все еще в темных глубинах своего разума я трусливо принимал существующее положение вещей. Я приспособливался ко всей этой низости: я видел, как молодые «благородные господа» били людей, таких как и я, и не только молчал, а старался, как и все вокруг меня, отвести взгляд, сделать вид, что я ничего не знаю и ничего не замечаю. Прошел еще год, наступил 1902 [год] и мне исполнилось тринадцать лет. Конюхами в то время были, главным образом, люди сознательные, со здравым рассудком. Из-за моего юного возраста ко мне они относились внимательно и очень меня жалели.

Однажды летом, когда мы все как раз обедали, кроме старшего конюха, подрезавшего лошадям хвосты, два хозяйских сына вошли в конюшню в сопровождении управляющего и при его поддержке начали спорить со вторым конюхом. Вначале они разговаривали вежливо, потом тон изменился, они стали кричать и оскорблять его. Затем они бросились на него и стали грубо избивать. Все остальные конюхи стояли полумертвые от страха перед «гневом хозяев». Я же выскочил из комнаты, пронесся через двор, влетел в конюшню и закричал, обращаясь к старшему конюху: «Батько Иван! Хозяева бьют Филиппа на кухне!». Батько Иван как очумелый выскочил во двор, в фартуке, с ножницами в руках. Вместе со мной, не проронив ни слова, он бегом пересек двор и ворвался на кухню. Наверное, надо было плакать, но я начал кататься со смеху, когда он, увидев, что его помощника избивают, налетел изо всех сил на одного из «господских сынков», бросился на него как лев и одним ударом повалил на землю. Он ударил его еще несколько раз ногой, затем схватил управляющего и стал дубасить его по-мужицки под ребра. Оба хозяйских сына вместе с

помощником управляющего удрали, выломав две оконные рамы на кухне. Между тем вокруг собрались другие батраки. Все поденщики, бросив работу, прибежали на помощь конюхам. Со всех сторон раздавались крики: «До каких пор хозяева будут издеваться над нами?» Все стали перед крыльцом господского дома и потребовали выплатить заработанные деньги, заявив, что больше оставаться здесь не будут. Старый хозяин испугался и сам вышел на крыльцо, пытаясь нас уговорить. Он попросил конюхов не бросать работу и простить глупость своих молодых наследников. Тогда конюхи решили остаться: они могли чувствовать себя удовлетворенными, так как по крайней мере в этом имении их поступок положил конец раз и навсегда всяким попыткам решать споры при помощи побоев.

Что касается меня, хотя я был еще ребенком, этот инцидент произвел на меня неизгладимое впечатление. Впервые я услышал бунтарские слова, с которыми батько Иван обратился ко мне после этого происшествия: «Никто здесь не должен соглашаться с позором побоев... И если когда-либо, мой маленький Нестор, кто-то из хозяев попробует тебя ударить, хватай первые попавшиеся под руку вилы и проткни его!». Для моего возраста и для моей детской души слова эти казались ужасными, но стихийно, инстинктивно я чувствовал весь их подлинный смысл и справедливость. Впоследствии не один раз, когда я складывал солому в конюшне и видел кого-нибудь из хозяев, я представлял себе, что он собирается меня ударить, а я его закалываю вилами на месте.

Прошел еще год, и моя жизнь батрака закончилась. За три-четыре последних года положение нашей семьи значительно изменилось, мои старшие братья женились. У них теперь было собственное хозяйство, и каждый сам по себе обрабатывал свой кусок земли. Карп, один из братьев, даже построил себе отдельный маленький домик. По их совету я устроился учеником на литейный завод в Гуляй-Поле, где один из лучших мастеров-литейщиков П.Великий научил меня искусству отливать колеса к сеялкам, но вскоре я бросил завод и некоторое время оставался в материнском доме. Затем нанялся продавцом к одному торговцу вином. Через три месяца эта работа настолько мне надоела, что приехав вместе с хозяином на базар в Гуляй-Поле, я бросил его там, ничего не сказав, и не появлялся целых две недели ни у него, ни у своих.

Только когда он уехал, я вернулся домой. Братья мне рассказали, что их положение ухудшилось: виды на урожай были неважными, две лошади у них подохло, надо покупать новые, а, следовательно, влезть в долги. Кроме того, телега совсем развалилась, не на чем было возить пшеницу. Тогда я решил им помочь и нанялся в красильную мастерскую с условием, что хозяин закажет для меня хорошую телегу, за которую я расплачусь своей работой. Так и было сделано, и как только я рассчитался за телегу, я бросил эту работу, чтобы помогать братьям по хозяйству.

В 1904 году один из моих братьев, Савва, был мобилизован и отправлен на войну (русско-японскую - прим. А.С.). Все вместе мы построили отдельный дом для брата Емельяна: тогда он расстался с нами и поселился там со своей семьей. После того, как Карп и Емельян отделились, а Савву забрали на войну, в материнском доме остались только мы вдвоем с Григорием, еще подростки. Вскоре наши дела вновь ухудшились, и Григорий нанялся чернорабочим. Так я остался один, с лошадей и четырьмя гектарами земли, которую надо было обрабатывать.

Наступил 1905 год, с январским народным движением в Петербурге и массовыми восстаниями по всей стране. Впервые в жизни я начал читать запрещенную подпольную политическую литературу. На протяжении первых месяцев года, когда повстанческое движение было в самом разгаре, я попал вначале под влияние социал-демократов. Их социалистическая фразеология, их ложный революционный пыл меня соблазнили и обманули. Без какого-либо страха я распространял огромное количество социал-демократических листовок, призывавших к борьбе против царя и за установление республики.

В начале 1906 года я случайно познакомился с маленькой группой крестьян анархо-коммунистов из Гуляй-Поля и незамедлительно к ним присоединился. Военное положение, введенное по всей стране, полевые суды, карательные отряды, расстрелы - все это сделало борьбу нашей группы очень трудной. Несмотря на это, один раз в неделю, иногда чаще, мы организовывали пропагандистские сходки для ограниченного числа людей, от десяти до пятнадцати человек. Эти ночи, так как собирались мы, главным образом, ночью, были для меня полны света и радости. Зимой мы собирались в чьем-нибудь доме, а летом - в поле, возле пруда, на зеленой траве или, время от времени, на прогулках. Не обладая большими знаниями, мы обсуждали вопросы, которые нас интересовали.

Самым выдающимся товарищем в группе был Прокоп Семенюта. Родом из крестьян, он работал тогда слесарем на заводе. Он был наиболее знающим из нас и одним из первых в Гуляй-Поле, кто серьезно изучал анархизм. После полугода практики в маленьком кружке по изучению анархизма, усвоив основы учения, я начал активную борьбу и перешел в боевую анархо-коммунистическую группу. Основателем этой группы был, главным образом, товарищ Владимир Антони. Его родители, чехи по происхождению (отец чех, мать немка - прим. А.С.), эмигрировавшие из Австрии, были рабочими. Он также работал токарем. Это был в высшей степени честный и искренний революционер. (Я не знаю, что с ним случилось теперь, поскольку не имею с ним отношений вот уже семнадцать лет). В то время, о котором идет речь, в Гуляй-Поле его прозывали «Иисус», особенно женщины, чьи мужья посещали учебный кружок, где Владимир отважно вел свою пропаганду. Именно он оказал на меня решающее влияние, изгнав раз и навсегда из моей души малейшие остатки рабского духа и подчинения какой-либо власти. С этого момента я окончательно стал на путь борьбы за социальную революцию.

В сентябре 1906 года впервые за мной пришли жандармы, чтобы меня арестовать, но мне удалось бежать. Через полтора месяца меня все же арестовали. Меня обвинили в участии в «экспроприациях», а также в неудачном покушении на жандарма. В этот раз только благодаря счастливому случаю я не попал под расстрел и поскольку вина моя не была доказана, я был оправдан властями и отпущен на волю.

В конце 1906 года Владимир Антони вернулся из поездки в Москву. Брат Прокопа Семенюты, Александр, дезертировал из армии и вернулся в Гуляй-Поле. Тогда группа развернула более активную деятельность. На террор, развязанный правительством на Украине, мы ответили со своей стороны политическими покушениями, не прекратив при этом пропагандистскую работу в учебном кружке, где сформировались замечательные, энергичные и искренние революционеры. Многие из них в ходе борьбы погибли на эшафоте и под пулями. Однако их

мысли и их поступки не исчезли бесследно, так как анархистские идеи прочно укоренились в среде гуляйпольских крестьян.

В 1907 году деятельность группы еще более расширилась: мы ответили покушениями на преследования и казни революционеров. Для ознакомления с нашими идеями печатались и распространялись листовки на русском и украинском языках. Мы достигли пика нашей деятельности и в ответ на пресловутый Столыпинский закон, уничтожавший общинную собственность на землю, мы проводили «черный террор» против помещиков и кулаков. Они организовывали пропагандистские поездки по деревням, чтобы проповедовать отказ от сельской общины, передачу земель в частную собственность и поступление во Всеобщий союз землевладельцев. Не имея возможности открыто и законно разоблачать эту пропаганду, группа решила издавать листовки и летучки, чтобы объяснять крестьянам настоящие намерения Столыпина и отрицательные стороны нового закона. Наконец, поскольку эта деятельность была недостаточна, группа решила поджигать всюду, где возможно, имущество и поля помещиков: это получило название «Черный террор». Он был приведен в исполнение: имения горели на протяжении недель и никто не тушил огонь. То же было по отношению к кулакам. Любопытно, что только рабочие и крестьяне, примкнувшие к социал-демократам, помогали полиции и пожарным тушить пожары. Они нам объясняли, что не следует бороться против «вещей» или уничтожать имущество, «капитал», он тут ни при чем, и тому подобное. Это обстоятельство было нам на пользу, так как оно показало крестьянам на практике, кем были в действительности социал-демократы. Вскоре стало невозможно найти хотя бы одного крестьянина социал-демократа не только в Гуляй-Поле, но также в огромном районе вокруг него. Те, кто вступили в социал-демократическую партию, поспешно из нее вышли. В то время члены группы: Антони, Левадный, Прокоп Семенюта и я сам вынуждены были перейти на нелегальное положение, продолжая при этом жить в Гуляй-Поле. В сентябре 1907 года меня арестовали из-за глупости эсера Михея Маковского. Он попросил меня одолжить ему на несколько дней мой револьвер под предлогом свершения покушения на жандармского пристава: поскольку однажды ночью, во время проверки документов, жандармы грубо обошлись с ним. Довольный тем, что этот человек хотел отомстить за свое оскорбленное достоинство, я дал ему свой револьвер. Между тем, не прошло и часа после этого, когда мы с ним шли по улице и встретили его невесту Варю Булат, он дважды выстрелил в нее в упор и затем разрядил оставшиеся в барабане патроны в себя самого. Оба раненные, они упали, хотя к счастью, раны оказались не смертельными. Считая нечестным оставить их в таком состоянии, я попытался оказать им помощь. Прибыла полиция и меня арестовали. Спустя несколько дней самый активный из наших товарищей Антони был арестован при настойчивой попытке повидаться со мной с помощью часового.

Позже я узнал, что начальник полиции, некий Караченцев, заявил нашему начальнику почты: «Я никогда еще не видел людей такой закалки. У меня много доказательств, чтобы обвинить их в принадлежности к числу опасных анархистов, но, несмотря на энергичные допросы, я не смог ничего от них добиться. Махно, когда на него смотришь, выглядит глупым мужиком, но я знаю, что именно он стрелял в жандармов 26 августа 1907 года. Так вот, несмотря на все мои усилия, я не смог добиться от него никакого признания. Напротив, он привел мне алиби, доказывая, что его не было в тот день в Гуляй-Поле. Я проверил и был вынужден признать его действительным. Что касается другого, Антони, когда я его

допрашивал, подвергнув беспощадным побоям, он набрался наглости заявить мне: «Ты, сволочь, никогда из меня ничего не выбьешь!». А я ведь ему показал, что такое «качели»!.

В этот раз следователь был настроен приписать мне несколько «экспроприаций» и покушений. Однако, в конце концов было ясно, что в момент их осуществления я находился далеко от этого места: несколько свидетелей подтвердили это, не колеблясь. Несмотря на это, мне пришлось просидеть в тюрьме 4 месяца в ожидании результатов следствия. Что касается Антони, то его не удалось ни в чем обвинить, тогда решили выдворить его в Австрию под тем предлогом, что он был австрийским подданным. Дело пошло к губернатору, который тщательно рассмотрел этот случай: вначале он присудил Антони месяц тюрьмы по какому-то надуманному делу, затем освободил его, запретив оставаться в Екатеринославской губернии. Антони устроился в соседней губернии и не порывал связи с нами, помогая и способствуя нам время от времени.

Освободившись, я вернулся поездом в Гуляй-Поле. Едва моя нога ступила на землю на вокзале, как меня вновь арестовали и отправили в руки начальника полиции Караченцева. Он меня допросил на месте, утверждая, что располагает новыми доказательствами против меня, затем передал меня следователю. Тот продержал меня еще четыре месяца в тюрьме, пока владелец завода в Гуляй-Поле Данилович-Вичлинский не внес залог в две тысячи рублей, чтобы меня освободить. Этот человек, которому я обязан своей свободой, посоветовал мне тогда уехать из Гуляй-Поля. Он утверждал, что располагает сведениями о намерениях местных властей в отношении меня. «Если вы не хотите уехать, - сказал он мне, - по крайней мере не оставайтесь дома, найдите себе квартиру, где вы сможете тихонько жить, не привлекая внимание».

Однако в это время ни один из активных членов нашей группы не мог больше жить открыто под своим именем. Под влиянием товарища Александра Семенюты, к которому мы больше всех прислушивались и уважали, потому что он был также самым преданным, смелым и твердым, и его мнение было законом, группа решила, что я останусь на «легальном» положении еще два или три месяца ради интересов дела. Продолжая участвовать в борьбе, я нанялся на работу к красильщику.

На протяжении 1907 года средства, которыми располагали власти Гуляй-Поля, увеличились, они получили в свое распоряжение отделение охраны. Шпики, эти двуногие псы, начали свое грязное дело. Борьбаться стало намного опаснее. Тем не менее, вскоре я организовал на Бочанах, в окрестностях Гуляй-Поля, еще один кружок анархистской политграмоты, который посещали от 20 до 25 молодых крестьян. Мы читали, комментируя и обсуждая вместе разные основополагающие тексты. Собирались мы регулярно - раз в неделю.

Месяц спустя все товарищи, которые участвовали в подпольной борьбе, решили собраться на конференцию, чтобы принять важные решения по поводу вооруженной борьбы. Но вначале нам следовало решить один щекотливый вопрос. 2 июня этого года мы казнили проникшего в наши ряды шпика Кушнарера. А его привел к нам наш товарищ Иван Левадный. Еще Антони во время моего ареста заметил в его поведении что-то необычное и подозрительное. Невзирая на подозрения и надсмотр, Левадный оставался членом нашей группы, и мы не смогли ничего доказать, поэтому создававшаяся ситуация вызывала трения

между товарищами. Одна из целей конференции состояла как раз в том, чтобы раскрыть эту тайну. Левадный, конечно, заметил недоверие, которое он вызывал, и заявил, что он хочет доказать свою искренность и преданность группе, а также свою верность делу анархии, взяв на себя исполнение террористического акта, который поручит ему группа. Чтобы всесторонне обсудить это предложение, я, братья Семенюты и несколько других членов группы решили остаться после собрания в доме этого самого Левадного. Мы были вскоре окружены сотней казаков, которые квартировали в Гуляй-Поле с некоторых пор.

Как только начальник местной охраны предложил нам сдаться, Левадный крикнул: «Товарищи, сдаемся!». Все товарищи единодушно и решительно отказались и оказали вооруженное сопротивление. В замешательстве перестрелки почти всем удалось бежать, за исключением нашего незабываемого и отличного товарища Прокопа Семенюты, который был убит. Его брат Александр и Левадный также были ранены. Среди казаков, жандармов и полицейских тоже были убитые и раненые.

Спустя несколько дней я зашел к Александру Семенюте на его подпольную квартиру, чтобы рассказать ему о похоронах брата, на которых он не смог присутствовать. Затем мы поговорили о предстоящем приезде в Гуляй-Поле губернатора, который хотел убедиться на месте о положении дел. Мы решили совершить на него покушение. 6 августа Филипп Онищенко и я, вооруженные бомбами и револьверами, каждый со своей стороны вышли в заранее определенное место. Александр Семенюта, с лицом заgrimированным до неузнаваемости, также занял свою позицию. Тем не менее, нам ничего не удалось сделать, так как нас не подпустили к дороге, по которой должен был проезжать губернатор. Молодых отстранили и только самых пожилых жителей пропустили во двор волостного управления. Губернатор произнес пламенную речь и призвал крестьян выдать ему «кучку бандитов», свивших себе гнездо в данной местности. Крестьяне ответили ему единодушно: «Мы не бандиты, среди нас их нет, и мы таких здесь не знаем».

Вечером мы с Филиппом, огорченные неудачей, встретились у Александра Семенюты. Я предложил тогда взорвать местное отделение охраны бомбами, которые были в нашем распоряжении, поскольку я хорошо знал расположение ее помещений после трехразового пребывания там на протяжении последнего месяца. Александр Семенюта поехал в Екатеринослав, чтобы привезти то, чего нам не хватало; он привез оттуда две бомбы на 9 и 4 фунта и рассказал, что видел других членов группы: Шевченко, Зуйченко, Левадного и М.Альтхаузена. Все, кроме последнего, принимали участие в столкновении в Гуляй-Поле и хотели участвовать в покушении, но Семенюта счел, что в этом нет необходимости. В ночь на 24 августа, мы встретились втроем и приняли решение взорвать здание охраны через день. Если кому-то из нас суждено при этом погибнуть, эта жертва принесет пользу. Когда мы выходили из дома Онищенко, несколько казаков на конях, поджидавших у ворот дома, крикнули нам остановиться, мы ответили выстрелами из револьверов и скрылись. Во время перестрелки Александр был легко ранен в руку, а Филиппа арестовали в ту же ночь. Я вновь увиделся с Александром на следующий день, и мы решили ничего не менять в наших планах. 26 августа, за несколько часов до покушения, которое могло повлечь за собой смерть одного из нас или даже обоих, меня арестовали, одели наручники и увели в охранку. На следующий день меня перевели в тюрьму жандармерии, где я встретился с Филиппом. Мы испытывали острое чувство досады из-за провала нашего плана. Через несколько дней

мы узнали об аресте в Екатеринославе всех наших товарищей, за исключением Семенюты, их выдали Левадный и Альтхаузен. Последний дал показания против меня, заявив: «Да, я знаю Махно. Он член группы, и по словам Левадного - самый опасный террорист после братьев Семенют». Всех нас перевезли в Гуляй-Поле. Тогда Караченцев вызвал меня и сказал: «Ну, Махно, в этот раз вы попались, вам больше не удастся отрицать факты». Вскоре следователь предъявил мне обвинение в целом ряде преступлений против закона и властей. В особенности, он вменял мне в вину несколько экспроприаций и убийств жандармов и полицейских. Таким образом, мое дело было передано в суд. Год спустя следователь явился в Александровскую тюрьму, куда нас перевели, чтобы сообщить нам о завершении расследования. В связи с этим он объяснил нам очень подробно, каким образом он собирал против нас обвинения и кто давал ему сведения. В тот же день агентов-provокаторов Левадного и Альтхаузена перевели из нашей камеры в специальную камеру, где руководство тюрьмы прятало ради спасения шпигов, которым приходилось сидеть некоторое время за тюремными засовами. Оно хорошо знало тюремный закон: если бы их оставили с нами, их судили бы и казнили. Они продолжили, тем не менее, свою карьеру Иуд и предали еще двух наших товарищей - К.Кириченко и Е.Бондаренко. Это вызвало у нас отвращение, и мы приняли решение казнить их после нашего побега.

Начиная с этого дня, все находившиеся в тюрьме товарищи были решительно настроены искать возможность коллективного побега. Быстро был разработан план. Мне поручили установить связь с оставшимся на свободе Александром Семенютой и разработать вместе с ним все детали операции, в частности всего, что касалось наших действий за стенами тюрьмы. Однако наши намерения натолкнулись на новое препятствие: нас разделили на четверки и стали переводить в Екатеринославскую тюрьму. Пришлось изменить план: оставшиеся на свободе товарищи должны были попытаться освободить нас по дороге из тюрьмы на вокзал. Был разработан сигнальный код, чтобы дать знать женщине, члену Александровской анархо-коммунистической группы, которая приходила по понедельникам под окна нашей тюрьмы, сообщили ли нам уже точную дату нашей отправки в Екатеринослав.

4 января 1910 [года] мы узнали, что на следующий день на рассвете нас всех восьмерых должны увести на вокзал и отправить в Екатеринослав. Нам удалось сообщить об этом группе, которая уже в полном составе находилась в Александровске, поскольку ей пришлось покинуть Гуляй-Поле после казни полицейского пристава Караченцева и еще одного офицера на станции Пологи. Наши товарищи ждали подходящего момента, чтобы попытаться вырвать нас из рук конвоя. 5 января нас подняли в 3 часа утра и приказали готовиться к отъезду. Мы встали в радостном предчувствии предстоящего освобождения. Через час нас вывели во двор тюрьмы, где ожидал конвой. Нас сковали наручниками по парам. Затем мы вышли из тюрьмы в окружении солдат с саблями наголо и направились по улицам Александровска в сторону вокзала. Было очень холодно: 27° ниже нуля. Мы шли по середине улицы так быстро, что даже не заметили наших товарищей, которые следовали за нами по тротуару. Возле вокзала солдаты приказали нам остановиться, и только в этот момент мы услышали условные слова, произнесенные одним из наших, чтобы сообщить нам об их присутствии. Один из солдат зашел в здание вокзала, чтобы узнать о прибытии поезда и зарезервировать для нас места. Я знал больше, чем мои товарищи о плане нападения, поэтому прислушивался к каждому звуку. Мы решили, что в тот момент, когда мы должны

выйти на платформу, чтобы сесть в поезд, каждый из товарищей направит свое оружие на одного из солдат караула и потребует, чтобы тот бросил оружие. В случае сопротивления, они должны быть расстреляны на месте, как и провокатор Альтхаузен. Я услышал голос Семенюты, сказавшего на типичном крестьянском говоре, обращаясь к ездовам: «Ну, подождите полчасика! Как только закончим дело, поедем». Все эти подробности четко запечатлелись в моей памяти. Я был пристегнут наручниками к товарищу Егору Бондаренко. Он не мог пошевелить своей большой рукой в наручниках, а я с небольшим усилием мог освободить свою руку, поэтому он мне сказал: «Как только освободишь руку, бери револьвер и сам убей этого шпика Альтхаузена, потому что в потасовке товарищи могут о нем забыть, и он может убежать; я со своей стороны также постараюсь не потерять его из виду». Вдруг мы услышали, что солдат, вернувшийся с вокзала, сказал, что мелитопольский поезд опаздывает минут на сорок, так как пути занесло снегом и нельзя было точно предвидеть его прибытие. Мы все вздрогнули: приближался рассвет и вместе с ним время нашего побега. Мы старались не потерять хладнокровие.

Нас привели на вокзал, в зал ожидания третьего класса. Нас отделяли скамейки от свободных пассажиров, которые тем не менее поспешили купить и передать нам через солдат хлеба и колбасы. Я помню, что никто из нас ни к чему не прикоснулся, настолько мы были напряжены.

Вдруг в зале раздался пронзительный крик: «Солдаты! Жандармы! Здесь Семенюта, хватайте его, он сейчас будет стрелять». Это орал «наш шпик» Альтхаузен. Он хорошо знал Семенюту, поскольку жил с ним некоторое время в Екатеринославе и узнал его среди пассажиров, хотя наш товарищ переоделся в крестьянское платье, большой бараний тулуп и папаху. Шпик несомненно подумал, что Семенюта пришел специально, чтобы его убить, поэтому он орал как сумасшедший. Трудно сказать, что мы почувствовали в этот миг. Мы видели, как несколько солдат и жандармов бросились к нашему товарищу, который спокойно и решительно достал из карманов два револьвера и стреляя отступил к двери и затем скрылся. В других концах зала раздались еще выстрелы. Многие пассажиры бросились на пол, чтобы не попасть под пули. О бегстве теперь не могло быть и речи, и вскоре тюремщики и солдаты выместили на нас свои эмоции.

Через несколько минут вокзал был окружен силами полиции и ищейками из охраны. Допросили Альтхаузена, и он поклялся, что действительно узнал Александра Семенюту. Это оказалось неожиданностью для властей, так как они считали, полагаясь на официальные сведения, что он нашел убежище в Бельгии. Они осознавали, что их коллеги были жертвами покушений, проведенных под его руководством, и пообещали несколько тысяч рублей за его поимку, живого или мертвого. Конечно же в газетах его представляли как особо опасного преступника. Александр Семенюта был титаном революции, как по своей моральной цельности, так и по своей преданности делу анархии и по своей храбрости. Его смелость стала легендой. Он не боялся ни эшафота, ни палачей. С 1906 года, когда он дезертировал из 56 пехотного полка в Одессе, он занял тяжелый и опасный пост в революционной анархистской борьбе и с тех пор не оставлял его. За каждого побитого или замученного арестованного революционера он мстил пулей из револьвера, уничтожая насильника.

Те из анархистов, кто его знал в России или за рубежом, всегда вспоминали о нем, как о человеке с исключительными качествами, честном и преданном. Верно, что многие современные анархисты, в особенности те, кто не испытал преследований подполья и кто относится недоброжелательно к таким борцам, возможно бы отреклись от него, но их мнение нас не интересует. Отвага Александра Семенюты еще раз спасла ему жизнь. Ни солдаты, ни жандармы так и не смогли его схватить. Как раз в тот момент, когда власти закончили допрос шпики Альтхаузена, прибыл поезд. Нас погрузили в вагон и отправили в Екатеринослав. Власти этого города встречали нас на вокзале с большими «почестями»: целая рота солдат и большое количество явных или скрытых полицейских ожидали нас на вокзале. Нас окружили с угрожающим видом и повели в тюрьму. Там нас вначале хорошо отдубасили. Затем Бондаренко, Кириченко и меня увели и посадили в специальную камеру для смертников. Одного из наших товарищей, Мартынову, бросили в женскую тюрьму. Товарищей Лисовского, Чернявского и Орлова поместили в обычную общую камеру. Что касается шпики Альтхаузена, ему пришлось поддерживать компанию некоему Простотину, палачу, занимавшему отдельную камеру в башне. Он был обычным уголовником, который предложил свои услуги, согласившись за деньги вешать осужденных. Между тем Альтхаузен, приказчик по профессии и торговец по призванию, нашел в этом свой «интерес». Будучи среди шпики, он узнал, каким образом можно избежать возможной казни. Он попросил начальника стражи, некоего Белокоза, перевести его в камеру к палачу, так как не чувствовал себя в безопасности среди шпики, кое-кто из которых сожалел о прошлой деятельности и мог его уничтожить. Он получил согласие. Другой предатель, Левадный, покался перед нами и, в качестве искупления, предложил убить палача Простотина, как только ему представится такая возможность. Разумеется, наша группа с возмущением отказалась от его предложения. Впоследствии он оказался в тюремной больнице вместе с одним анархистом из Екатеринослава, который в удобный момент его задушил.

Для суда нас перевели в специальную камеру при общей, где мы тяжело переживали отсутствие наших дорогих товарищей Ивана Шевченко и Кшивы. Их судили отдельно за вооруженное сопротивление, признали виновными и повесили. Еще один товарищ, Зуйченко, получил смертный приговор, который ему заменили на пожизненные каторжные работы; его перевели в другую камеру. Наконец, еще один товарищ из нашей группы, Щербина, был оправдан судом.

К моральным страданиям добавились суровые порядки содержания в карцере. Со времен неудачного побега смертников 29 апреля 1908 года эта тюрьма слыла во всем мире как настоящее пекло. Не было и дня, чтобы какого-нибудь заключенного жестоко не побили, иногда до поломанных ребер. В 1908 [года] организация анархо-коммунистов Екатеринослава ответила на этот неслыханный произвол покушением на губернатора. Перепуганный, он прибежал в тот же вечер в тюрьму и приказал изменить режим. Однако несколько дней спустя губернатор умер своей смертью, и прежний режим был восстановлен. Мы были бессильны и как все другие заключенные были вынуждены терпеть произвол тюремщиков.

В марте 1910 года я предстал перед военно-полевым судом Екатеринослава. По обвинительному акту на скамье подсудимых должны были находиться шестнадцать

обвиняемых, с Махно и Зуйченко во главе. Нас же было только трое, Зуйченко отсутствовал из-за серьезной болезни, остальные были в бегах и розыске.

До 1917 года Гуляйпольская крестьянская анархо-коммунистическая группа отличалась от других организаций своей постоянной и активной деятельностью на протяжении одиннадцати лет своего существования. Она поддерживала постоянные отношения с русскими организациями за границей, откуда многие из ее членов, вынужденных скрываться, помогали ей литературой и оружием. Не привлекая к себе внимания, группа вела значительную пропагандистскую работу, в особенности, среди крестьян, работу, которая принесла свои результаты, как будет показано далее. Наши судьи знали, с кем они имеют дело, и сделали все возможное, чтобы покончить с «бандитами, которые хотели силой оружия свергнуть существующий строй». Если бы они действительно имели дело с бандитами, им не пришлось бы беспокоиться, так как никто бы не стал на их защиту. Но дело обстояло не так, поэтому судьи и полицейские были обеспокоены и нервничали на протяжении всех дней заседаний. Больше всего их беспокоило присутствие Александра Семенюты и его товарищей не только в стране, но и в самом Екатеринославе. Вот почему, когда нас вели в суд или обратно в тюрьму, движение трамваев и пешеходов поблизости перекрывалось. Многократно наивысшие полицейские чины и даже лично начальник полиции присутствовали при нашем выводе из тюрьмы. Все они не уставали твердить своим подчиненным строгий приказ: в случае, если будет выпущена хоть одна пуля или брошена бомба, нас следует немедленно и без колебаний расстрелять.

Нас всех восьмерых обвиненных выстраивали по-военному в шеренги, окруженные несколькими концентрическими кольцами: вначале пешие солдаты из тюремной охраны, затем взвод конной охраны с револьверами в руках, наконец целая свора полицейских и сыщиков, рассредоточенных во все стороны. Так каждый день нас водили на суд. Однажды, на четвертый день заседаний, когда мы находились в зале суда (военно-полевой суд заседал в Феодосийских казармах), до нас донеслись звуки перестрелки, вначале слабые и прерывистые, затем интенсивные и частые. Заседание было прервано, и судьи вышли. Наш адвокат, гражданин Пудрый, подошел ко мне и сказал, что снаружи непонятная перестрелка и что это может нам повредить. Только возвращаясь в тюрьму, мы услышали в разговоре солдат имя Семенюты, но ничего больше так и не узнали. Охрана была еще более усилена. На следующий день нас предупредили, что это заседание может быть последним, и тогда нас не поведут в прежнюю камеру, а в специальные отдельные камеры в подвале, откуда мы выйдем только на казнь. Мы попрощались друг с другом, не подавая виду, чтобы тюремщики не заметили наше волнение.

Во время переклички я обратился к начальнику охраны Белокозу и попросил дать мне новые ботинки, поскольку мои были совсем изношены. Едва я произнес свою просьбу, как услышал в ответ голос шпики Альтхаузена: «Зачем тебе новые ботинки, если через две недели тебя повесят?». Бондаренко бросился к нему, но солдат загородил ему дорогу прикладом винтовки. Мы все закричали: «Пусть уберут шпики! Мы не хотим его больше видеть!». Кто-то скомандовал: «Молчать, или я прикажу открыть огонь!» Одновременно прозвучала другая команда: «Смирно!». Затем военное приветствие: «Здравствуйтесь, молодцы!» Ворота тюрьмы распахнулись, и кто-то из высокого городского начальства вошел во двор. Мы так и не узнали, кто это был; одни говорили начальник Екатеринославской полиции, другие

утверждали, что узнали начальника охраны. Этот высокий чин подошел к Альтхаузену и довольно долго о чем-то с ним говорил, поглядывая в нашу сторону. Наконец, он подошел к нам и спросил: «Кто здесь Махно?». Когда я ответил: «Это я», он медленно смерил меня взглядом с головы до ног. В его глазах было что-то ласковое и мягкое, но я почувствовал сильную к себе ненависть в его жестах и словах. Он вновь обратился к Альтхаузену: «Значит, Семенюта пишет только Махну?» - «Да, - ответил шпик, - именно он пользуется полным доверием Семенюты и через него тот передавал письма заключенным». Высокий чин посмотрел на меня еще раз своими ласковыми глазами, затем сказал начальнику охраны: «Внешне он выглядит совсем безобидным, однако говорят, что он очень опасен». Таким было вступление к последнему заседанию на нашем процессе.

В этот раз обеспокоенные солдаты окружили нас тесным кольцом и молча выслушали подлый приказ расстрелять нас всех в случае нападения, затем нас привели на заседание трибунала. Судьи заседали под председательством некоего Мано-Батога, который через семь лет, после февральской революции, оказался главным революционным прокурором на фронте. Тогда я делал большие усилия, чтобы встретиться с ним, но мне это не удалось. Как бы там ни было, в этот день был вынесен приговор: товарищи М.Мартынова, Лисовский и Зиблидский были осуждены на шесть лет каторжных работ; Кириченко, Бондаренко, Орлов, я и Альтхаузен - к пятнадцати годам каторги за участие в «бандитской» организации. Те же пятеро - к смертной казни через повешение за террористические акты и экспроприации. Прочитав этот приговор, судья Батог приказал охране: «Уберите их отсюда!». Во дворе тюрьмы нас заковали в кандалы по рукам и ногам и повели в камеру смертников в подвале, за исключением Альтхаузена, который вернулся в камеру к палачу. Тот протестовал, утверждая, что «его мораль не позволяет ему находиться в одной камере с тем, кого, возможно, он должен будет повесить». Тогда Альтхаузена поместили в соседнюю отдельную камеру. В нашей камере мы увидели товарища Кацуру, который рассказал нам, что это он был причиной перестрелки на четвертый день: он сидел в парке и ждал, пока придут остальные товарищи, а полицейские приняли его за Семенюту и хотели арестовать. Он защищался, стреляя из револьвера, когда на помощь ему пришел еще один товарищ, матрос-дезертир Цимбал. Начался настоящий бой, длившийся полдня. Семеро охранников и полицейских были ранены, несколько агентов охраны убиты. Обоим товарищам удалось уйти, но Цимбал имел несколько ранений; ночью пришлось вызвать врача, который оказал ему помощь и вскоре донес на него полиции. Оба товарища были арестованы во время сна и ожидали теперь суда и повешения, как и мы. Кацура находился на лечении в тюремной больнице.

Мы провели первую ночь нашей новой жизни, пытаясь сосредоточиться на новых мыслях и новых чувствах, чтобы забыть о своем положении. На следующее утро нас вновь повели на заседание трибунала для оглашения приговора. Там мы встретились с нашими адвокатами (они нас защищали безвозмездно, за исключением адвоката Альтхаузена). Печальные и огорченные, они бросились к нам и просили выслушать их внимательно. Один из них, Пудрый, от имени всех предложил нам подать апелляцию. Когда мы отказались, он предложил подписать прошение о помиловании на имя царя Николая II, чтобы нам заменили смертную казнь на каторжные работы. Когда он протянул мне текст, я заявил, что не хочу ничего просить у этого злодея, и поскольку они нас осудили на смерть, то им остается только нас повесить. Остальные товарищи поступили так же, за исключением Альтхаузена,

который держался в стороне и вполголоса разговаривал со своим адвокатом. Вскоре появился генерал Батог, он прочел во второй раз приговор и с ненавистью приказал нас увести.

ГЛАВА II. 52 дня под смертным приговором

Начиная с 26 марта 1910 года нас с товарищами держали в камере смертников. Эта камера с низким сводчатым потолком, шириной в 2 метра и длиной в 5, и еще три таких же находились в подвале Екатеринославской тюрьмы. Стены этих камер были покрыты надписями, оставленными известными и неизвестными революционерами, которые в тревоге ожидали там предначертанного им часа. Их тени, казалось, бродили вдоль этих стен, воздвигнутых угнетателями, чтобы заключить угнетенных или борцов, которые вышли даже из их среды, но честно порвали с их преступным миром. Эти тени оставались с нами, которые в свою очередь ожидали преждевременной смерти. Заключенные в этих камерах чувствовали себя наполовину в могиле. У нас было такое ощущение, как будто мы судорожно цепляемся за край земли и не можем удержаться. Тогда мы думали о всех наших товарищах, оставшихся на свободе, не потерявших веру и надежду осуществить еще что-то доброе в борьбе за лучшую жизнь. Принесши себя в жертву во имя будущего, мы испытывали по отношению к ним особое чувство искренней и глубокой нежности. Кроме этих чувств, которые привязывали еще к жизни, приговоренные к смерти разрывали, сами того не замечая, всяческую связь с внешним миром. Сидя, стоя или идя, они думали только об одном: своей казни. Они искали в себе силы оставаться твердыми и отважными до последней минуты перед палачами. Таким было последнее желание, мечта, самое большое утешение для всех тех, кто сознательно вступил на путь революционной борьбы.

Однако были и другие, не только среди уголовников, но также и среди революционеров, те, кто с приближением последних минут жизни начинал сожалеть о своих поступках. Раскаиваясь, они не могли обрести былую храбрость, не могли привыкнуть к мысли о смерти: они начинали плакать и терять рассудок. Хотя среди революционеров их было мало, их нельзя было осуждать из-за той огромной тяжести, которая на них обрушилась. Надо было пытаться поддержать их морально, не оставлять их наедине с самими собой.

Весной 1910 года в Екатеринославской тюрьме было много приговоренных к смерти. Только в нашей 23-й камере, кроме Бондаренко, Кириченко, Орлова и меня, было еще семь человек. Дни для нас проходили в ожидании, когда за нами придут и уведут на виселицу. Мы были молоды и полны сил, поэтому испытывали бесконечную печаль при мысли о том, что мы могли бы еще осуществить во имя нашего идеала. Но ни один из нас не боялся ни палача, ни эшафота, так как мы заранее знали, на что шли. Мой товарищ Бондаренко поведал мне о своем убеждении, что его скоро повесят, но, что касается меня, он говорил: «Послушай, Нестор, у тебя есть шанс, что палачи заменят тебе смертный приговор на пожизненную каторгу. Затем тебя освободит революция, и я глубоко убежден, что, получив свободу, ты высоко поднимешь знамя Анархии, которое у нас вырвали наши враги, и водрузишь его очень высоко... такое у меня предчувствие, так как я видел тебя в деле, Нестор, ты не

дрожишь перед палачами».

Тогда Кириченко и я прервали его и подвергли сомнению его слова. Мы ему говорили о моей интеллектуальной неподготовленности и о моей физической слабости, тем более, что я тогда страдал от болей в желудке и не мог почти ничего есть. «В таком случае, если ты этого не сделаешь, ты будешь предателем, - продолжал Бондаренко, - так как для того, чтобы сохранить веру и внутреннюю силу, чтобы ненавидеть палачей и действовать, не надо иметь большие умственные или физические способности. Достаточно иметь волю и преданность делу».

К нашим возражениям Бондаренко присоединился товарищ Орлов, и нам удалось взять верх. Тогда он задумчиво замолчал на некоторое время и заключил с непоколебимым убеждением: «Тем не менее, Нестор, если когда-то ты станешь свободным и откажешься бороться против этой банды паразитов - царя, буржуазии и их прислужников, - как и против новой власти, даже социалистической, ты глупец и бездельник».

Наши разговоры продолжались целыми часами. Мы говорили о прошлом и о будущем, но не о настоящем. Однако эти споры не позволяли нам забыть мысль, которая довлела над всеми остальными: ожидание нашей скорой казни.

Однажды вечером в ходе спора вдруг нас объединила одна мысль. Мы сказали себе: какая глупость, какой абсурд сидеть и ждать повешения, тогда как мы могли бы в момент выхода на прогулку напасть на охранников, разоружить их в мгновение ока и попытаться бежать! А если нам это не удастся, нам останется только покончить с собой, вместо того, чтобы глупо ожидать пока нас добьют. Все с энтузиазмом присоединились к этому плану.

«Действительно, - сказал Тюленин, один из товарищей анархистов, - мы способны отомстить за нас своим палачам, и даже сможем заняться палачом Простотиным!».

«Отличная мысль, - ответил я, почти крича, - мы потянем его за собой, в могилу!». Кто-то добавил: «А кроме того, хватит, все эти тюремщики действительно слишком чувствуют себя здесь полными хозяевами... надо им показать раз и навсегда, что они имеют дело не с послушными овцами».

Так и решили. Во время выхода из камеры на прогулку мы должны были схватить Простотина и коридорных охранников, разоружить их, убить тех, кого мы знали как наших заклятых врагов, связать остальных, спуститься во двор тюрьмы, где нам оставалось разоружить еще несколько охранников, убить начальника тюрьмы Титисова и его заместителей, в особенности пресловутого Белокоза, затем попытаться вырваться на улицу. Выйдя наружу с оружием, мы должны были разбежаться по два в разные стороны. В случае провала плана нам не оставалось ничего другого, как покончить с собой. Никто не должен был сдаться живым.

Из нас всех я был физически самым слабым, но мне тоже дали задание. Наконец все было готово, и все роли распределены. Нам оставалось только ждать завтрашнего утра, времени начала прогулки, чтобы осуществить наш план. Как обычно, в девять часов вечера мы легли спать. Едва мы легли, как вошел Белокоз с другими охранниками, чтобы увести одного из

наших на казнь. Это был хороший товарищ, достойный и приятный, хотя он и не разделял наших идей. Его увели. Какую же боль, какую тревогу, какое возмущение ума мы испытывали в это мгновение! Он только что разговаривал с нами, и вот его вырвали из наших рядов, не дав даже попрощаться. Переполненные тревогой, с напряженными до предела чувствами, мы не могли уснуть после его ухода.

Я испытывал сумасшедшее желание подвергнуть ужасным страданиям всех тех, кто приговаривает к смерти и заставляет вас ждать и надеяться до самого рокового часа. Но мои руки и ноги были в кандалах: я мог думать, но не мог действовать. Я старался запечатлеть в памяти все эти размышления, чтобы отомстить когда-нибудь виновникам такого положения дел, если останусь живым.

На следующий день на рассвете мы встали и ходили по узкой камере, наталкиваясь друг на друга и избегая взглядов. Нам принесли горячей воды на чай. Разговаривая вполголоса, мы повторили еще раз наш план. После чая мы пошли на прогулку, но, к сожалению, ни в коридоре, ни во дворе, вплоть до ограды, где происходила прогулка, мы никого не встретили. Из-за этого возникли сомнения и нами овладело разочарование. Отвечая на наш вопрос, один из охранников объяснил, что Простотин выходит из своей камеры только раз в неделю, чтобы пойти в баню. Мы поняли тогда, что наш план провалился. Мы провели долгие часы в поисках другого плана. Неожиданно мы обнаружили, что один из охранников нам симпатизирует и через него передали письмо местной анархо-коммунистической группе.

Симпатизировавший нам охранник согласился бежать вместе с нами. Мы быстро разработали новый план: после вечерней прогулки мы должны подпилить ножовкой решетку на окне, и при первой возможности - отсутствие, невнимательность или сон охранника - выбраться во двор, где к нам присоединится наш друг охранник. Затем мы должны пройти двор до женского блока, где сидели многие наши подруги. Они должны открыть окна, по рамам которых мы сможем выйти на крышу этого двухэтажного здания. Оттуда мы спрыгнем во двор прилегавшего к тюрьме водочного завода, где нас будут ждать товарищи. Таким образом мы будем спасены.

Немедленно началась переписка с группой и подготовка. Через несколько дней у нас уже были ножовки по металлу. С подпиливанием и снятием оконных решеток мы могли управиться за четверть часа. Все шло великолепно, и мы очень радовались. Даже самые обескураженные среди нас обрели силу духа. Еще два-три дня и все начнется, и если побег не удастся, мы, по крайней мере, не умрем от руки палача. Вот о чем мы думали.

Помнится, однажды вечером, где-то около 20 апреля, я сказал товарищам: «Друзья, сегодня пятница, значит, одного из нас могут этой ночью казнить (так как по законам церкви и государства нельзя было производить казни по субботам и воскресеньям). Давайте сядем за стол и поедим как следует. По крайней мере, тот кого повесят, умрет с полным животом, пролежит дольше в земле, и червям достанется больше!»

В тот вечер мы все были в веселом настроении, и мое предложение вызвало смех. Мы накрыли стол посреди камеры и с аппетитом поели колбасы, сыра, сала, селедки, короче,

понемногу всего, что у каждого было в запасе, а продуктов было немало, так как приговоренные к смерти имели право на ежедневные встречи с родственниками и получение в неограниченных количествах продуктов питания. Между прочим, некоторые из нас имели деньги на хранение в тюремной столовой. После обильного ужина мы разложили матрацы и улеглись спать. Было 9 часов вечера, некоторые уже спали, другие беседовали с новоприбывшими (власти очень заботились, чтобы не было свободных мест и заполняли их по мере освобождения).

Вдруг дверь камеры распахнулась с такой силой, что опрокинула стол, из-за чего стоявшая на нем керосиновая лампа упала. В полнейшей темноте раздался приказ не двигаться со своих мест. Один из охранников зажег фонарь и осветил камеру. У входа в камеру стояли охранники и солдаты с саблями и револьверами в руках. Белокоз ворвался внутрь и схватил одного из наших товарищей в кандалах. Заметив, что это оказался не тот, он заорал: «Шанаев! Шанаев!». Это был черкес, который не спал, так как подозревал, что именно его очередь идти на казнь. Он натянул одеяло на голову, проглотил дозу стрихнина и ответил: «Я!». Белокоз схватил его за кандалы и выволок в коридор. Шанаев вдруг пошатнулся и упал, крикнув нам наполовину на русском, наполовину на своем родном языке: «Прощайте, товарищи! Я умираю!». Его тело вытащили наружу. Те, кто готовился увидеть его на эшафоте, не получили такого удовольствия: ни палач, которому платили по три рубля за каждого казненного, ни прокурор, который присутствовал, чтобы прочесть еще раз смертный приговор перед виселицей, ни врач, «долг» которого состоял в том, чтобы подождать предусмотренные четверть часа после повешения и торжественно констатировать кончину, ни, наконец, поп, который присутствовал при этом, чтобы поддержать приговоренного, если тот высказал такое пожелание. Напрасно смазывали мылом веревку, Шанаев предпочел избежать всей этой «церемонии». Тюремщики немедленно провели тщательный обыск в нашей камере в поисках стрихнина, но ничего не нашли. После этой бурной ночи последовали два или три дня ужасных моральных мук. Мы вновь потеряли всякий аппетит.

Вечером 26 апреля 1910 года охранники вновь появились в нашей камере и увели моего лучшего друга Бондаренко. Белокоз не вошел в камеру, а позвал его с порога. Бондаренко спал как раз рядом со мной, и услышав свое имя, только свое, он повернулся ко мне и сказал: «Нестор, брат мой, ты остаешься жить, я знаю, ты выйдешь на свободу, я же иду на верную смерть». Он обнял меня. Мое сердце билось очень сильно, я схватил его за руку и поцеловал в щеку. Белокоз сказал с нетерпением: «Бондаренко, пора выходить!». Мой друг встал и ответил: «Я готов!». Затем он обратился ко всем товарищам по камере: «Прощайте, друзья! Будьте спокойны, потому что я спокоен». Дверь за ним закрылась, и многие сокамерники бросились ко мне, поздравляя и обнимая: «Махно, твоя жизнь спасена!». Другого моего товарища, Кириченко, который был болен, в тот вечер перевели в тюремную больницу. Один из санитаров предупредил, что за ним идут, чтобы его повесить. Кириченко знал, что его уведут, несмотря на болезнь, даже на носилках, поэтому он решил принять яд и умер в кровати.

На следующий день родители обоих товарищей пришли их проведать. Нет слов, чтобы описать горе отцов и матерей, узнавших об их смерти. Они приехали издали и привезли с собой также мою мать. Это было невыразимо грустно. Мать спросила, сколько оставить мне

денег. Я ответил, что не надо ничего оставлять: «Я не знаю, что со мной еще будет. Может быть моя очередь подойдет даже сегодня вечером». Она ответила: «Не теряй мужества, будь сильным. Ты не первый и не последний, кому придется здесь умереть». С этими словами на устах, со слезами на щеках она рассталась со мной. Я долго ждал казни, по-прежнему в той же камере. Однажды мое терпение лопнуло, и я направил прокурору письмо с протестом, спрашивая, почему меня не отправляют на виселицу. В ответ через начальника тюрьмы я узнал, что, принимая во внимание мой юный возраст, казнь мне была заменена на каторжные работы, но он не сказал, на сколько лет. В тот же день, меня вместе с последним товарищем, Орловым, перевели в здание, отведенное для каторжников. Вскоре я сильно заболел брюшным тифом. Пришлось два месяца пролежать в тюремной больнице. Оттуда я написал матери, в ответ она мне сообщила, что ходила к губернатору (он скреплял своей подписью окончательные смертные переговоры) и узнала там, что из-за моего юного возраста казнь мне заменили на пожизненную каторгу. Так на смену затянувшемуся кошмару ожидания повешения пришел кошмар каторги.

ГЛАВА III. В тюрьме

Моя болезнь имела некоторые признаки сыпного тифа, власти обеспокоились, так как в этом случае меня обязательно следовало перевести в специальное здание за пределами тюрьмы. Такого перевода они опасались, так как боялись Александра Семенюты, хотя все знали о его трагической кончине, когда он 1 мая 1910 года покончил с собой после десяти часов героического сопротивления у себя в квартире, окруженной солдатами. Но такова была его слава, что власти сомневались, несмотря на всю очевидность его смерти. Легенда о его непобедимости была сильнее действительности. Поэтому, в конце концов, меня перевели в отдельную палату для больных заключенных, которым оставалось жить считанные часы. Все, врачи, дирекция и даже мои товарищи были убеждены, что я умру с минуты на минуту. Они ошиблись. Через неделю я пришел в себя и потребовал, чтобы врач установил окончательный диагноз и меня перевели в общую палату лазарета. Врачу было стыдно держать меня в этой палате для умирающих, а, кроме того, я решительно протестовал: я все время кричал, что тому, кто себе позволяет так обращаться с больными, следует отрубить голову. В конце концов меня перевели в лазарет, поставив диагноз брюшной тиф. Через два месяца я выздоровел.

Когда меня перевели в лазарет, с меня сняли кандалы, как это обычно делалось с заключенными, потерявшими сознание. После выздоровления их надели опять и меня поместили на несколько дней в специальную камеру для карантина. Нас там было десяток. Случился небольшой инцидент. За камерой находился женский корпус, смежный с камерой предварительного заключения. Поэтому мы надеялись с помощью наших соседок установить связь с недавно арестованными товарищами, чтобы узнать новости. Однако в Екатеринославской тюрьме запрещалось показываться в окнах, а тем более устанавливать связь с другими заключенными. Заметив наши усилия, чтобы установить общение с заключенными, наш коридорный охранник, некий Мамай, открыл камеры, выстроил нас в шеренгу и начал избивать. Скованные по рукам и ногам, мы могли сопротивляться, только крича изо всех сил. Наши крики слышали в других камерах. Вся тюрьма содрогнулась. Солдаты из внешней охраны ответили плотным огнем вдоль окон. Затем все успокоилось, но мы были так раздражены, что не могли спать в эту ночь. На следующее утро нам сообщили наказание: нас лишили чая и завтрака.

После трехдневного карантина нас вернули в общие камеры, где сидели как политические, так и простые уголовники. Режим был тяжелым, а нравы грубыми и глупыми. Например, уголовники проводили время за игрой в карты. Некоторые из них проигрывали все, что имели, и были вынуждены скрываться от тех, кому были должны, в другой камере на том же коридоре. Там этим несчастным, чтобы получить благосклонность Белокоза, приходилось рассказывать ему о том, что происходило в камере, которую они покинули. Они доносили на своих недавних товарищей, оговаривали их, иногда обвиняли в кражах одежды или имущества. Тогда Белокоз врывался в камеру, хватал и уносил обувь, одеяла, подушки. Тех, кто отважился протестовать, вытаскивали в коридор и жестоко избивали под дулом

пистолета. Обычно большинство заключенных молчали и покорно позволяли издеваться над собой. Смотреть на эту покорность было еще тяжелее, чем на сами издевательства.

Однажды Белокоз решил произвести изменения: он обошел все камеры и рассортировал заключенных. Затем собрал в одну камеру всех политзаключенных - анархистов, эсеров, социал-демократов. Это не облегчило режим содержания политических, напротив, в этом было что-то подозрительное по отношению к нам. Действительно, нас перевели в пресловутую камеру № 10, где 29 апреля 1908 года был организован побег. Несмотря на два прошедших с тех пор года, власти не могли оставаться равнодушными к этой камере. Охрана смотрела на нее косо и ненавидела тех, кто там находился. В ней был установлен исключительный режим, она стала чем-то вроде карцера. Те, кто там сидел, должны были смириться с беспрекословным повиновением. Туда бросали самых непокорных и самых опасных и относились к ним соответственно. При малейшем проявлении протеста им заявляли: «Молчите! Это вам не 29 апреля, у вас больше не будет ни бомб, ни оружия, ваши друзья далеко, сейчас другие времена и т. д.» Кроме того, по малейшему поводу сыпались наказания: нас лишали то прогулки, то обеда. Жизнь стала невыносимой, мы начали решительные протесты. Узники из других камер нас робко поддерживали. Тогда Белокоз произвел новую сортировку. Он перевел в нашу камеру всех уголовников, которые солидаризировались с нами. Сразу же возобновились игры в карты с теми же последствиями, что и раньше: долгами, бегствами, стукачеством. Белокозу только это и надо было. Однажды утром, задолго до обычного утреннего обхода, он вошел в камеру в сопровождении группы охранников. А многие из нас научились открывать замки кандалов, чтобы снимать их на ночь. Застав нас на месте преступления, Белокоз приказал вывести нас в коридор и нас подвергли избиению. Мы потребовали встречи с губернатором. Тот прислал к нам прокурора и главного губернского инспектора по тюрьмам. Прокурор выслушал наши жалобы, записал их и пообещал сделать необходимые выводы. Что касается главного инспектора, он также выслушал нас, ничего не записал и пообещал выпороть нас. Дирекция тюрьмы торжествовала. Нам удалось тайно передать подробный и обоснованный письменный протест министру внутренних дел в Петербург. Вскоре мы узнали, что нас собираются перевести в другую тюрьму.

Дело нашего товарища Зуйченко должны были пересмотреть в третий раз. Мы с ним договорились, что он признается в участии в вооруженном нападении и укажет на меня как на сообщника, для того чтобы нас перевели в другую, небольшую тюрьму, и наши товарищи получили возможность попытаться нас освободить во время перевозки. Следовательно подверг нас тщательному допросу и нас сфотографировали. Он не скрывал также своего удовольствия от того, что вскоре мы будем на виселице. Через несколько недель он появился вновь, снова очень дотошно допросил Зуйченко и заявил ему в конце концов, что не даст себя провести: он хорошо изучил дело Махно и понял, зачем тому нужно взять на себя ложную вину за это нападение. Вследствие этого дело против Махно закрыто и его никуда не переведут. Весь наш план провалился. Наши товарищи с воли много раз пытались вступить с нами в контакт и заставить вывезти меня из Екатеринослава по какому-нибудь делу. Им это не удалось. В августе 1910 [года] всех узников камеры № 10 перевели в тюрьму г. Луганска и оставили на камерном режиме. В нашем каторжном поезде было немало смелых, честных и хороших товарищей. Наш план состоял в том, чтобы напасть на охранников, связать их и бежать. Увы! Нас посадили в так называемые «столыпинские»

вагоны. Заключенных и охрану в них разделяла решетка. Кроме того в соседнем вагоне находился взвод жандармов, которые стояли на посту у входа нашего вагона на каждой остановке. В таких условиях о побеге не могло быть и речи. Таким образом, мы прибыли в Луганскую тюрьму без инцидентов. Там мы оставались около года. Жизнь была очень тяжелой. Один из товарищей из Мариупольской группы, Горбаненко, в отчаянии привязал себя к кровати, укрылся матрасом, полил его керосином из лампы и поджег. Его вытащили из огня еще живым, но с ужасными ожогами и вытекшими глазами. Через несколько часов он умер. Понятно, с какими страданиями связана жизнь каторжника. Мы держались благодаря двум надеждам: надежде бежать и надежде на революцию. Каждый из нас хотел жить и желал того же другим, большинство из которых, анархисты или социалисты, были преданными нашему делу. В то время я был еще юношей, и мне нравилось присматриваться к людям, чтобы найти в них долю той силы, которая была у моих любимых друзей Владимира Антони и братьев Семенют.

В начале июля 1911 года ко мне приехал брат Григорий. Он меня не видел целых четыре года и хотел знать, на что я возлагаю надежды. Я сказал ему: «Трудитесь изо всех сил, как это делали мы. Не бойтесь ничего, ваша работа среди крестьян приблизит революцию, и именно она освободит меня и других узников». Брат не смог сдержать слезы, хотя он и ходил уже на анархистские собрания в Гуляй-Поле. Я обругал его немного за такое недостойное поведение. На второй день он снова пришел, чтобы рассказать о делах моих товарищей, и теперь настал мой черед сдерживать слезы.

22 июля 1911 года нас предупредили о моем немедленном переводе в центральную тюрьму Москвы. По дороге у нас была остановка в Екатеринославской тюрьме. Старый знакомый Белокоз встретил нас там руганью и недоброжелательностью. Он проверил наши кандалы и наручники, счел некоторые из них слишком свободными и приказал перековать их как можно теснее. В тюрьме был новый начальник, так как наши протесты возымели некоторые последствия. Прошло серьезное расследование условий содержания, вследствие которого прежний директор застрелился. Что же касается главного инспектора тюрем, ему пришлось уйти в отставку. Новый начальник был не лучше прежнего. Его звали Шевченко, он был глуп, упрям и груб: качества, которые связывали его с Белокозом. Однако открытые издевательства прекратились, но скрытые стали только чаще. Из-за такого положения некоторые товарищи попытались предпринять отчаянную попытку бегства, что только вновь вызвало раздражение начальства. Зуйченко, Чернявский, Коцура, Цимбал и другие осужденные к смерти находились в отдельной камере. Их приговор был заменен на пожизненные каторжные работы, но начальство умышленно затягивало и не сообщало им об этом. Однажды ночью они взломали дверь камеры, связали двух охранников, находившихся в коридоре, затем поднялись на второй этаж, связали одного из охранников, но второму удалось бежать, и он начал стрелять по ним из револьвера. Тогда они спустились в подвал, забаррикадировались там и стали требовать встречи с губернатором. Приехал губернатор и начал переговоры: он дал им слово чести не отдавать их под военный трибунал, если они сдадутся без сопротивления и, чтобы их убедить, он показал им через отверстие официальное сообщение о замене им смертной казни. Товарищи сдались, за исключением Цимбала, пустившего себе пулю в лоб. В присутствии губернатора у них спросили о причинах их поступка. Они обо всем рассказали, вследствие чего губернатор поставил на вид тюремному начальству. Он сдержал слово, и дело товарищей было

передано в обычный суд, который дал им только по восемь месяцев заключения.

ГЛАВА IV. В московской тюрьме Бутырки

В тюрьме Екатеринослава мы оставались пять с половиной месяцев, затем после двухдневного путешествия прибыли в московскую тюрьму. Начальник отделения каторжников, некий Дружинин, полистал мое дело, пристально посмотрел на меня своими пронзительными глазами и прошептал: «Здесь ты не будешь больше забавляться побегami». С нас сняли наручники с замками и заковали в наручники на заклепках, которые каторжники должны были носить на протяжении первых восьми лет заключения. После этой маленькой церемонии нас посадили на неделю в камеры на карантин, как этого требовали правила для новоприбывших. Мы познакомились со старостой (в царских тюрьмах старосты представляли интересы заключенных перед начальством тюрьмы, все их обращения должны были проходить через старост - Прим. А.С.) политзаключенных, эсером Веденяпиным. После болезни он находился на карантине, прежде чем вернуться в свою камеру. Он нас ввел в курс распорядка и жизни в тюрьме, познакомил с другими политическими заключенными, раздобыл для нас табака, сала, хлеба и колбасы, того, чего нам не хватало после поста в дороге.

Я помню, что расспрашивал его о содержавшихся здесь анархистах. Он мне ответил небрежно, и я почувствовал с его стороны определенную враждебность по отношению к ним. Немного позже я узнал, что на собрании политических «фигур», анархист Кириловский [более известный под своим псевдонимом Новомирский выступил с какой-то лекцией, в которой он обозвал лидера эсеровской партии Чернова «жандармом». В ответ Веденяпин ударил его по лицу. Вследствие этого инцидента между анархистами и эсерами возникло определенное напряжение.

Эта напряженность ограничилась так называемой секцией коридора № 3 и вскоре исчезла, так как Кириловский не получил большой поддержки среди своих товарищей. Уже в то время он колебался между анархизмом, индивидуализмом и иудаизмом. В результате анархисты, в особенности рабочие, не хотели о нем и слышать. Некоторые считали его просто болтуном, фразером, лишенным всяческого интереса. Дело доходило до того, что Веденяпина не осуждали за пощечину.

После окончания карантина меня поселили в камеру № 4 седьмого коридора. В камерах держали по два-три человека, но нас, украинцев, отделили друг от друга, поскольку мы считались бунтовщиками. Я оказался в одной камере с эсером Иосифом Альдиром, литовским евреем из Ковно. Наши темпераменты отлично совпадали, и мы оставались вместе, как братья, вплоть до самой революции. Из окна камеры я мог хорошо рассмотреть все здание тюрьмы. Она занимала целый квартал, посередине находился широкий двор, вокруг него четыре больших корпуса, окруженные в свою очередь вторым двором. Вся

территория была ограждена очень высокой стеной с башнями на каждом углу, знаменитыми тем, что в них в свое время сидели Пугачев, затем Гершуни (первый руководитель боевой организации эсеров - прим. А.С.) и много других, среди которых были толстовцы, подвергавшиеся издевательствам за то, что они отказывались брать в руки оружие во время войны с Японией в 1904-1905. Во внутреннем дворе росли деревья, главным образом липы. В тюрьме тогда находилось 3000 заключенных и несколько сот двуногих псов - охранников. Для узников, содержащихся на карцерном режиме, было предназначено отдельное здание.

В Бутырки я прибыл 2 августа 1911 года. В это время режим там стал менее жестоким, чем раньше. Когда-то, по рассказам товарищей, это был настоящий кошмар: запрещалось ходить по камере, узников били кулаками или кнутом. Устроившись в камере, я сразу же посвятил свое время чтению. Я глотал книгу за книгой; прочел всех русских классиков от Сумарокова до Льва Шестова, в особенности Белинского и Лермонтова, от которых я был в восторге. Эти книги появились в тюрьме благодаря долгой веренице политзаключенных, которые создали таким образом замечательную библиотеку, значительно более богатую, чем во многих наших провинциальных городах. В особенности, я изучал русскую историю по курсу Ключевского. Я познакомился также с программами социалистических партий и даже с отчетами их подпольных съездов. Позже мне в руки попала книга Кропоткина «Взаимная помощь». Я проглотил ее и постоянно держал при себе, чтобы обсуждать с товарищами.

Я следил по мере возможного за событиями на свободе. Так, с большим волнением я узнал о заявлении министра внутренних дел Макарова по поводу кровавого расстрела на Ленских золотых приисках: «Так есть и так будет всегда». Это повергло меня в глубокую депрессию. Убийство Столыпина 2 сентября 1911 года, напротив, вернуло мне боевой дух. Увы! Мой страстный порыв к образованию был вскоре прерван продолжительной и тяжелой болезнью - воспалением легких, из-за которого я попал в больницу. Вначале мне поставили диагноз мокрый плеврит, затем, три месяца спустя, туберкулез легких. Это было очень серьезно, и я пролежал в больнице восемь месяцев. Подлечившись, я вновь с пылом взялся за изучение своих любимых дисциплин: истории, географии и математики.

Вскоре я познакомился с товарищем Аршиновым, о котором много слышал раньше. Эта встреча стала для меня большой радостью. В тюрьме он был одним из тех редких анархистов, которые отдавали предпочтение практике. Даже в тюрьме он оставался очень активным, и, сохраняя связи с внешним миром, он перегруппировывал и организовывал заключенных. По каждому поводу я надоедал ему записками. Проявляя большую сдержанность, он всегда шел мне навстречу, мы оставались в тесных отношениях до выхода из тюрьмы, а затем эти отношения стали еще более прочными.

Мое здоровье улучшилось благодаря хорошей организации помощи среди политзаключенных. Мы все получали через Красный Крест деньги. Мы могли таким образом покупать продукты на складе. Дирекция ничего об этом не знала, так как деньги нам присылали подпольно. Социал-демократы, эсеры и анархисты в этом деле сотрудничали без проблем. Суммы, которые мы получали, были скромными, но достаточными чтобы нормально питаться. Уже из-за своей болезни я получал лучшую пищу, чем обычно. Несмотря на все, в последующем мне приходилось проводить два-три месяца ежегодно в больнице, чтобы отдохнуть и подлечиться, что было необходимо, в особенности, после «наказаний». Они

случались часто, за переписку с внешним миром или за нарушение тюремного распорядка. Наказания были двух видов: изоляция или карцер. Однажды мне пришлось просидеть в карцере целый месяц; я вышел оттуда и попал прямо в больницу. Что касается наказаний на неделю или две, их я получал очень часто. Здесь следует подчеркнуть печальный для меня и моих товарищей факт: мои страдания никого не интересовали. Это было в порядке вещей. Если бы я был какой-то важной «шишкой», все было бы по-другому. А я был всего лишь рабоче-крестьянского происхождения, как и остальные мои друзья. Всегда и всюду мы скромно несли свой крест, без лишнего шума и не требуя привилегий; мы боролись и, не колеблясь, преданно защищали наше дело. Мы полагали, что другие товарищи, разделявшие наши идеи, думают так же. Увы, это оказалось далеко не так. Я приведу в качестве примера «богов» из центральных комитетов социалистических партий, которые получили разрешение устроить мастерскую в коридоре № 3, прилегавшем к стене, где старший надзиратель Комиссаров (впоследствии расстрелянный по приказу Дзержинского) со всего размаху наказывал кнутом наших товарищей. Это не мешало некоторым «богам» здороваться с ним за руку, произнося в других местах громкие речи о тяжелом тюремном режиме. Благодаря средствам, поступавшим от Красного Креста, они разработали систему, позволившую им получить разрешение снять кандалы и работать в тюремных мастерских, в то время как другие товарищи, не получавшие такой финансовой помощи, не имели даже за что купить кусочек сахара. Те, кто протестовал против такого использования помощи, лишались ее просто по решению старосты. Чтобы оправдать эту меру, староста потихоньку распускал слух, что по его сведениям такой-то или такой-то в действительности не является «политическим». Так поступили с товарищами Потаповым и Шейдеровым. Такие сведения были получены как раз от тех, кто покупал разрешение снять кандалы на время работы в мастерских, что вызвало презрение товарищей по отношению к ним.

Так я окончательно понял, что это было обычное проявление образа мышления интеллигентов, которые искали в социалистических идеях и среде только средство, чтобы рассестись как хозяева и руководители. Эти господа кончили тем, что перестали понимать, что недопустимо пожимать руку или давать подарки палачам, которые сразу же после этого шли избивать их идейных товарищей. Эта отрицательная моральная сторона запечатлелась в моей памяти. Так я пережил в 1912 году глубокий внутренний кризис, в результате которого я больше не испытывал прежнего уважения к так называемым «выдающимся политическим деятелям» и к их взглядам. Я пришел к выводу, что на практике, в настоящей жизни все люди одинаковы, и что те, кто считает себя выше, не заслуживают того внимания, которое им уделяют.

ГЛАВА V. Попытки побега

Регулярно продолжая образование, я ни на минуту не оставлял мысль о побеге, в особенности после того, как летом 1912 года ко мне на свидание приехала мать и привезла много новостей от моих товарищей. Во всех тюрьмах достаточно мечтателей, которые проводят время за наивной разработкой планов побега. Иногда, изредка, их планы воплощаются в жизнь, и побег осуществляется, чаще всего план проваливается, не достигнув стадии осуществления. Я узнал, что некоторые товарищи уже давно готовят побег через туннель, прорытый под стеной тюрьмы. Оставалось только начать работы; для этого ожидали последний необходимый инструмент: электрические фонари, ножовки и т. д. Для этой цели хотели, чтобы дирекция отделила в камерах заключенных, которые работают в мастерских, от тех, кто там не работает. Это намерение полностью соответствовало мнению начальства. Оно решило осуществить его: все, кто не работал, в том числе и я, были переведены в камеру № 3 в соответствии с нашим пожеланием, так как оно полностью соответствовало нашему намерению: большая вентиляционная труба проходила под полом камеры и шла вниз, в подвал. Там вход в подвал был прегражден крепкой решеткой. Ножовки нам были нужны именно для того, чтобы преодолеть эту решетку.

Как только мы раздобыли необходимый инструмент, была создана группа для рытья хода, руководителем которой был назначен один из нас, обладавший необходимым опытом и знаниями, эсер Н.Жуков. 5 сентября 1912 года мы начали пробивать стену нашей камеры № 3, коридора № 3 на 3-ем этаже. Все получилось великолепно: пробитая дыра выходила как раз на трубу. Она была умело скрыта с внешней стороны плитой из четырех кирпичей, скрепленных железными скобами. Пройдя через трубу, туннель должен был вывести нас в подвал, пройти под тюремной канцелярией, затем под смежной с тюрьмой улочкой и выйти наконец в соседний двор. На рытье ушел месяц и 8 дней. Оставалось сделать еще одно маленькое усилие, и в осеннюю ночь, темную, но такую радостную для нас всех, мы, каторжники камер № 3 и № 4 вышли бы на свободу! За стенами тюрьмы мы имели надежную помощь.

Какие незабываемые ночи, полные радости и самых сумасшедших мечтаний, провели мы, роя этот ход! Мне поручили каждый вечер на кроватях сооружать из простыней и одеял куклы, чтобы охранник, посматривавший время от времени в дверной глазок, ничего не заметил. За время работ случилось единственное происшествие, к счастью, не имевшее никаких последствий: однажды вечером, часов в восемь, как обычно, мы открыли дыру. Жуков и еще один товарищ спустились в подземелье. Товарищ Знаменский взял плиту и положил ее так, чтобы не было видно со стороны двери; другой товарищ, Ватин, начал приклеивать штукатурку в тех местах, где она отвалилась, когда вынимали плиту. Я только закончил свое обычное дело, состоявшее в сооружении манекенов на кроватях, и подошел к товарищам, прятавшим плиту, чтобы попросить их посмотреть, были ли мои манекены достаточно похожими на спящих. В этот момент в дверном замке зазвенели ключи, и дверь вмиг открылась. Мы все вздрогнули от ужаса: двое наших товарищей были в подземелье,

плита была снята, Ватин и Знаменский как раз работали... Это был действительно критический момент: начальник ночной команды охраны встал на пороге! Не заходя в камеру, он попросил нас лечь и поменьше шуметь. «Вы ведь знаете, - сказал он, - что очень часто начальник тюрьмы и главный инспектор тюрем Москвы прогуливаются по коридорам!» После этих слов он закрыл дверь. Когда прошла тревога, мы в тот вечер хорошо посмеялись. В момент, когда это случилось, мы ничего не сказали товарищам, работавшим под землей. Только когда они вернулись на поверхность, помылись и легли, мы рассказали им о происшествии. Это их очень позабавило.

Дни и ночи проходили быстро. Мы были полны жизни и энергии. Малейший шаг вперед, наименьший успех в продвижении нашего предприятия переполняли нас радостью. Время нашего освобождения, на которое мы так надеялись, быстро приближалось. Ничто не должно было нас остановить... Увы, непредвиденное и глупое происшествие положило конец нашим надеждам и нашему плану. Русская пословица говорит, что в семье не без урода. Среди нас также нашелся урод. Было очевидно, что во время подготовки побега никто не должен был ни о чем писать кому бы то ни было, не делать никаких намеков. Однако один эсдек (социал-демократ - прим. А.С.) с Кавказа написал пару слов одному из своих земляков, который находился в камере для больных. Он пригласил его, не откладывая, переселиться в нашу камеру, так как, написал он, свобода близка. Вместо получателя записка попала в руки надсмотрщика, который поспешил передать ее в дирекцию тюрьмы. Конечно, начальство встревожилось, у него возникли подозрения. Во всех коридорах и во всех камерах были проведены обыски. У нас они следовали один за другим.

Было решено временно приостановить работы в подземелье, из-за чего мы очень отстали. Затем случилось еще одно происшествие, фатальное для нашего плана. Мы готовились как раз продолжить работы, когда начальство случайно обнаружило мешок со строительным мусором в стоке одного из туалетов в нашем коридоре. Мусор надо было измельчать в порошок и спускать через канализацию в Москва-реку, но мы не успели это сделать. Между тем, начальство поняло, что следует искать именно здесь в третьем коридоре. Лично начальник тюрьмы, его заместители, старшие охранники ломали себе голову, чтобы обнаружить точное место, где быть может пробита стена и откуда должен идти подземный ход. Напрасно. Начальнику пришлось вызвать главного инспектора тюрем Москвы, некоего Захарова, который в свою очередь вызвал целый отряд гвардейцев. Они обрушились в особенности на нашу камеру. Пол был наполовину сорван, стены во многих местах исследованы, но все безрезультатно. В ярости от того, что не удавалось раскрыть тайну, ключ к которой был у них в руках, эти господа из начальства каждый день с 15 по 25 октября 1912 года продолжали обыски. Все так же безрезультатно. У них оставалось единственное средство: воспользоваться услугами стукачей, то есть тех, кто сбежал из нашей камеры и укрывался в других местах. Так они и поступили. По их наводке охрана вновь пришла с обыском в нашу камеру, вооружившись десятком острых щупов, чтобы методически исследовать стены, и таким образом была обнаружена плита из кирпичей, скрепленных железными скобами, прикрывавшая отверстие хода. Так, вечером 25 октября наша подготовка к бегству через подземный ход была обнаружена. Все время, пока шел обыск, мы оставались закрытыми в туалетах на нашем коридоре, обеспокоено и очень внимательно прислушиваясь к каждому звуку, доносившемуся из нашей камеры, до того

самого момента, когда наш план был обнаружен, что повергло нас в глубокую печаль.

В коридоре раздался голос начальника каторжного отдела капитана Гурского: «Пусть их всех немедленно приведут ко мне!». Нас разделили по пять человек и повели из нашего здания в банный корпус. Один из наших, перепуганный, повторял, не переставая, что это для того, чтобы нас там наказать кнутом. К счастью, ничего подобного не случилось, нас ввели в здание с черного хода, прозванного «Сахалином», оттого что солнце туда никогда не проникало, и повели в 43-ий коридор. Там тщательно проверили наши кандалы и наручники. Кандалы весили 8 фунтов, а наручники 4. По дороге кое-кого из нас слегка побили, особое усердие проявил при этом начальник охраны Комиссаров, и затем нас поместили в камеру, где на кроватях не было матрасов. Это был карцер.

Мы сразу же установили связь с соседними камерами, прорыв дыру при помощи железного кольца от унитаза, чтобы общаться и получать сигареты. Затем мы стали думать, какая судьба нас ожидает. Это могло быть наказание палками, самое большее 99 ударов, предусмотренных за преступления подобного типа, или же дополнительное осуждение к каторжным работам. Во всяком случае, мы решили не признаваться ни под каким предлогом и утверждать, в случае надобности, что ход был прорыт до нашего появления в той камере. Впоследствии мы узнали, что такое объяснение устраивало также тюремное начальство. Это было совершенно понятно, так как капитан Гурский, военный, а не профессиональный тюремщик, стремился любой ценой избежать скандала. Между прочим, он был неплохим человеком; часто, когда кто-нибудь из наших провинился, он вызывал его к себе в кабинет и старался убедить, а не наказывать во что бы то ни стало. Разумеется, он ни на секунду не сомневался в том, что именно мы были виновны в прорытии хода, но предпочитал уклониться от этого дела, будучи уверенным, что нам никогда не удастся повторить подобную попытку. Созданная следственная комиссия также склонилась к этому мнению. Такой результат утихомирил гнев вышестоящего начальства.

На следующий день нас всех вызвали в кабинет начальника тюрьмы, вход в который находился со стороны двора. Мы были встревожены, так как именно там, в соседней комнате, узников наказывали кнутом. Мы старались не показывать охранникам наше беспокойство. Нас, всех 25 заключенных, которых это касалось, вызывали по одному в кабинет начальника. Там нас допросил следователь и сообщил нам, что дело окончательно закрыто, следовательно, мы избежали наказания кнутом и были очень рады, несмотря на разочарование из-за неудачи побега. Тем не менее, мы получили по неделе карцера. На пятый день охранники застукали нас, когда мы получали еду через окно по веревке от заключенных из соседних камер. Нас тут же схватили и перевели в нашу прежнюю камеру № 3, полностью переоборудованную, с заделанным отверстием хода. За это новое нарушение нам добавили еще неделю карцера, то есть посадили на сухой хлеб и воду. Затем, чтобы держать нас подальше от труб, ведущих в подземелье, нас снова перевели в другую камеру. Так завершилась наша попытка бегства.

Вскоре я заболел на некоторое время, и меня перевели в лазарет. После выздоровления я вернулся к товарищам и вновь принялся настойчиво изучать мои любимые предметы.

1913 год выдался скучным, но для меня очень полезным: я полностью посвятил его обучению и спорам с товарищами. Следующий год проходил так же, до события, которое случилось 19 июля (2 августа по новому стилю): в тот день, в субботу вечером, по всей тюрьме распространилась новость о том, что немцы объявили войну России. Это стало началом новой жизни для заключенных, для некоторых очень тяжелой. На следующий день всех осужденных к пожизненному заключению вывели в коридор.

Новый начальник тюрьмы (старого перевели на другое место из-за нашей попытки побега), некий фон Эльбе, выступил перед нами. Он произнес громкую патриотическую речь об объявленной войне, утверждая, что ее «нам навязала Германия», и добавил, что подал прошение записать его в добровольцы. «Я немец по происхождению и прошу, чтобы меня направили на Кавказский фронт; я полковник и смогу принести пользу нашей родине», - заявил он.

Его речь была отвратительна, однако немало «патриотов» среди нас слушали ее с радостью. Фон Эльбе сопровождала какая-то дама из высшего общества, она раздавала нам евангелия и просила нас молиться, чтобы боженька помог нашему императору выйти победителем из войны. Затем фон Эльбе сообщил нам, что через несколько дней мы начнем получать ежедневную газету, чтобы следить за военными событиями. Это была приятная новость, так как теперь мы будем иметь возможность читать газету, не скрываясь, как нам приходилось это делать до сих пор, когда она до нас доходила подпольно.

Спустя неделю мы стали получать ежедневно «Русский инвалид». По сообщениям этой газеты, русские били в пух и прах всех и всюду, тогда как немцы и австрийцы драпали и рыдали.

Среди заключенных образовались группы «патриотов» и «пораженцев». Первые пламенно желали поражения немцев и присоединения к России новых губерний. Польские заключенные заняли открыто враждебную позицию по отношению к России. Между ними и русскими «патриотами» возникали споры, переходившие даже в драки. В столкновениях использовались табуретки и скамейки. Вскоре в среде заключенных установилась чрезвычайно тяжелая атмосфера, тогда как жизнь требовала от них солидарности. Патриоты всюду брали верх, так как их поддерживало начальство, даже если именно они начинали враждебные действия. Их противников часто бросали в карцер. Я с отвращением смотрел на все это и испытывал глубокий стыд.

В нашем коридоре, где сидели осужденные пожизненно, образовалась группа «интернационалистов», объединявшая анархистов, эсеров и социал-демократов. Она решительно осудила войну, но, к сожалению, ее влияние было слабым, так как в ее состав входили только рабочие и крестьяне. Редкие представители интеллигенции, которые поначалу были в ее рядах, вскоре перебежали в лагерь патриотов. Однажды в конце августа 1914 [года] мы читали вслух газету «Русский инвалид». Один из патриотов, учитель-эсер из Воронежа Антон Шевцов, молчавший до сих пор, вдруг лукаво воскликнул: «Ну, а теперь давайте почитаем что-то хорошее для наших интернационалистов! Пусть они внимательно слушают и конспектируют!». Он достал из-под полы своей куртки номер либеральной ежедневной газеты «Русские ведомости» и начал читать вслух: «Открытое

письмо Петра Кропоткина». Я подошел и стал внимательно слушать, потом сам взял газету и еще раз вместе с товарищами прочел от начала до конца это письмо. Затем я пошел спать и, не произнеся ни слова, стал размышлять над его содержанием. Ближайшие друзья, заметив мою задумчивость и усталость, не мешали мне. Через полчаса я встал и заявил патриотам: «Вы хотите знать мое мнение? Ну, что ж, вот оно: по-прежнему считая Кропоткина нашим учителем, мы совершенно не согласны с ним по этому вопросу». Они пытались меня переубедить, смутить, но я стоял на своем и написал товарищу Аршинову, спрашивая его мнение по поводу позиции Кропоткина. Одновременно я просил его ответить, какой бы была позиция Бакунина в подобной ситуации. Он ответил, пытаясь меня успокоить.

Вскоре меня бросили в карцер за то, что у меня нашли очень сильный стих «Призыв», написанный в 1912 году и призывавший всех эксплуатируемых объединиться под черным знаменем против всех эксплуататоров. За неделю, проведенную в карцере, я написал другой стих в таком же стиле и, как только вернулся в свою камеру, сразу же его переписал. Его тоже у меня обнаружили, за что я вновь был наказан карцером на еще больший срок. Несмотря на заключение в карцере, благодаря друзьям я был в курсе развития внешней ситуации и внутренних столкновений в тюрьме.

В 1915 году многие заключенные обратились к царю с требованием разрешить им записаться добровольцами в армию, чтобы сражаться за «родину». Безрезультатно, так как их просьба не была удовлетворена. К концу этого года я вернулся очень ослабленным из одиночного заключения и с пылом вновь погрузился в учебу. Внутренний режим в тюрьме становился все более тяжелым; были оборудованы специальные камеры для наказания узников за наименьший проступок. В них нельзя было ни курить, ни переписываться с родственниками и т. д. Однажды заключенные камеры наказаний № 33 потеряли терпение, захватили нескольких охранников и убили их, вышли на первый этаж, убив еще нескольких охранников, и прорвались во двор, но им не удалось захватить «Святого Петра» (так назывался пост охраны у входа в тюрьму) и выйти на улицу. Их обнаружили, заставили вернуться в свои камеры, где властям удалось их усмирить. Девятерых из них бросили в карцер, затем судили и повесили месяц спустя. Это событие произвело на меня огромное впечатление и оказало глубокое влияние на мои убеждения и мой характер.

Я много думал о глубинных причинах такого положения и искал возможных виновников. Я часто спорил с товарищами по заключению и все более убеждался, что анархисты правы, возлагая ответственность за это на государственную систему, которая заставляет людей забывать о человечности и делает возможными такие зверства. Эта система должна погибнуть вместе с теми, кто ее защищает. У меня по этому поводу сложилось очень четкое представление, и я постоянно говорил о нем со своими товарищами.

Война затягивалась, и было такое впечатление, что она будет продолжаться еще годами. Мы начали более пристально интересоваться речами политиков из Думы, хотя раньше никогда не читали отчеты о ее заседаниях. Мы с пристрастием следили за ее деятельностью, чтобы понять настоящее положение дел на фронте и внутреннюю ситуацию в стране.

Патриотизм среди заключенных начал понемногу спадать и вскоре осталась лишь кучка его ярых сторонников, хотевших раздела Германии между союзниками, вместо того, чтобы заниматься необходимыми для России внутренними преобразованиями. Эти патриоты считали, что после победы над Германией страна сама превратится в республику. Между тем положение на фронте быстро ухудшалось, и патриотам приходилось это признать, несмотря на вранье в газетах. Они смехотворно пытались оправдать поражения, объясняя их стратегическими маневрами главного командования. А ведь среди них были социалисты, образованные люди, интеллигенты, которые мечтали в один прекрасный день взять в свои руки судьбу России. Мы, рабочие и крестьяне, слушая их речи, отвечали им, что царь напрасно отказался послать их на фронт. Жизнь в тюрьме продолжалась в таких постоянных спорах. В 1916 году мы, украинцы, начали мечтать о возвращении в нашу страну в ближайшем будущем. Одному из наших товарищей прислали роман Винниченко «Я хочу», который по вечерам мы начали читать вслух с огромным вниманием.

Мы обсуждали собственно украинские проблемы. Хотя я в общем держался в стороне, но, не колеблясь, часто вмешивался и соглашался со своими земляками. Я не могу объяснить, откуда идут у меня симпатии к Украине; конечно, я много читал об ее истории, в частности книги Ключевского и Кареева (известных русских историков того времени - прим. А.С.). Мать часто мне рассказывала о жизни запорожских казаков, об их былых свободных общинах. Я читал когда-то повесть Гоголя «Тарас Бульба» и восторгался обычаями и традициями людей того времени, но никогда не предполагал, что настанет день, когда я почувствую себя их потомком, и они станут для меня источником вдохновения для возрождения этой свободной страны. Мои убеждения держали меня на расстоянии от тенденций к разъединению и не позволили мне поддаться соблазну идеи независимого украинского государства, несмотря на особое чувство родства, которое я испытывал по отношению к моим украинским товарищам по тюремному заключению.

События 1916 года дали нам ясно почувствовать скорое падение царизма и близость революции. Это предчувствие укрепилось к концу года, когда правительство Протопопова решило распустить Думу. Правительство было в такой растерянности, что мы без колебаний могли предсказать начало революции. Мы с радостью говорили себе: падение царского самодержавия неотвратимо. Революция добьет его. Она скоро начнется, с началом зимы на фронте. Увы! Наступила зима, но без революции, к нашему большому разочарованию. Временному, поскольку события быстро следовали одно за другим. Начало 1917 года отмечено известными выступлениями Милюкова, Чхеидзе и Керенского, с которыми мы подпольно ознакомились. Стремление Протопопова распустить Думу утвердило нашу веру в близость революции. В конце февраля появились ее признаки. Даже сами «патриоты» чувствовали приближение больших событий. Они потеряли во многом свою спесь и логика их патриотических высказываний стала неуверенной: то они утверждали, что России нужен пролив Дарданеллы, то совершенно забывали об этом и заявляли, что потеряли всякую надежду сделать что-либо полезное при деспотическом режиме. В конце концов, они постепенно похоронили таким образом свой «патриотизм» и стали рассматривать возможность установления республиканского строя. Многие из них даже заговорили о сепаратном мире, который следует заключить после падения царизма. Многие лишились иллюзий относительно войны и заявили, что поумнели.

Дискуссии о войне сменились дискуссиями о революции. Мы задавались вопросом, сохранит ли республика тюрьмы и освободит ли она политических заключенных. Этот последний вопрос был предметом споров с «уголовниками», которые возражали против такого ограничения. Эсеры, в отличие от социал-демократов, заявляли, что если их партия придет к власти, все узники, без исключения, будут освобождены. К счастью, вскоре эти дискуссии прекратились, так как Дума взяла власть в свои руки, и вскоре двери тюрем распахнулись для всех политических.

Это случилось 1 марта 1917 года. Заместитель начальника тюрьмы зашел в нашу камеру. Он занимал этот пост временно, так как должен был стать инспектором тюрем. По сравнению со своими коллегами это был неплохой человек, он часто задерживался и разговаривал с нами о происходящих событиях. Но в этот раз заместитель начальника был менее разговорчив, чем обычно, вид у него был озабоченный, и он не переставал тревожно посматривать по сторонам. Выходя из камеры, он сказал: «Господа, я не могу вам все сказать, так как среди вас есть болтуны, я вас приветствую, но знайте, что в Петрограде готовятся великие события, вы вскоре узнаете о них сами». Потом он резко повернулся и вышел. Мы действительно знали, что в Петрограде что-то происходит, но не знали, что именно.

Один из наших высунулся в окно и передает нам новости, которые ему сообщают знаками из северной вышки. Речь идет о демонстрациях под красным флагом по всей Москве. Это по-разному толкуется теми, кто надеется на революцию, и патриотами, которые надеются на продолжение войны. В четыре часа мы сидим и пьем чай, как вдруг во дворе тюрьмы раздаются крики. Мы видим, как бегут охранники с оружием в руках, что нас не удивило, так как это обычно бывает в случае серьезного происшествия. В этот раз тревога продолжается слишком долго, и кажется нам непонятной. Потом, в обычное время нам принесли ужин, и мы ждем вечернего обхода. Напрасно. Вдруг звучит команда, и двум заключенным приказывают собрать вещи и выйти в коридор. Затем вызывают других, и мы не знаем, как это понимать. В нашей камере остается только 13 заключенных из 25. Выясняется, что уводят политических.

Вдруг раздается свисток, и нас выводят в коридор для обхода. Начальник охраны проходит вместе с неизвестным военным. Я нервно спрашиваю у него, что происходит. Он отвечает: «Успокойтесь, причин для волнения нет. Бог нам послал политические изменения в стране. Я к ним присоединился. Узники, осужденные по статье 102 (касающейся политических преступлений - прим. А.С.), будут завтра освобождены». И он уходит.

«Буря грянула! Двери тюрем скоро откроются! Да здравствует революция!», - радостно кричат товарищи. Мы не можем уснуть и ворочаемся всю ночь. Вдруг слышим крики толпы, и во дворе тюрьмы раздается выстрел. Мы все бросаемся к окнам и видим большое количество солдат в черных шинелях, что значит, что они из Московского округа. Они кричат нам: «Товарищи заключенные, выходите! Выходите все, свобода для всех!». Голоса из камер нашего коридора и из «Сахалина» им отвечают: «Камеры закрыты!». Тогда солдаты нам кричат: «Ломайте двери и выходите все!».

В других обстоятельствах мы приняли бы этот совет за провокацию, но тогда, не долго размышляя, мы все, тринадцать заключенных, хватаем огромную столешницу нашего стола и, используя ее как таран, разбиваем дверь. В коридоре мы видим, что другие камеры поступили точно так же, и все двери выломаны. Мы бросаемся во двор, смешиваемся с солдатами и бежим к выходу. Там уже почти полторы тысячи каторжников толпятся у ворот. Каждый пытается проложить себе дорогу, самые грубые не стесняются. Тогда раздаются голоса, требующие навести порядок и выйти организованно. На выходе на улицу Долгорукова солдаты выстраивают нас в шеренги по четыре человека. Так все мы вместе с солдатами направляемся на Театральную площадь к городской управе, чтобы получить официальные документы, как нам объяснили солдаты. По дороге мы встречаем представителей новых властей, вперемешку гражданских и военных, которые останавливают нашу колонну и упрекают солдат за то, что они так поступили, и приказывают вернуть нас в тюрьму, для того чтобы освобождение проходило организованно. Несмотря на протесты солдат, «новые вершители судеб народа» отдают приказ двум отрядам казаков и роте пехоты, которые проходили рядом, окружить нас, и нас ведут обратно в тюрьму. Вернувшись, некоторые узники впали в отчаяние.

Тюрьма нам показалась совершенно другой: ни следа от охранников, а выбитые двери всех камер валяются на земле. Интендантский склад, где заключенные могли запастись продуктами, открыт, и каждый может взять, что хочет. Четыре часа после обеда; вместе с группой товарищей мы проходим по всем зданиям тюрьмы, не теряя надежды освободиться. Наконец, мы готовим чай в нашей старой камере и занимаемся каждый своим делом. Я углубляюсь в учебник алгебры Давыдова и учу бином Ньютона.

Вдруг в коридоре раздаются шаги, и какой-то голос зовет: «Махно!» Я не успел и встать, как в камеру входит офицер запаса, дружески всех приветствует и, читая по бумаге, которую держит в руке, спрашивает: «Кто из вас Махно?» Я поднимаю руку. Он бросается ко мне, протягивает мне руку и говорит: «Поздравляю вас, вы свободны! Идите за мной!» Я прощаюсь с товарищами, беру вещи и следую за лейтенантом Ивановым, так он представился. По дороге он вызывает других заключенных и просит их также следовать за ним.

В караульном помещении солдаты разбивают на наковальне наши наручники и кандалы на ногах, затем нас отправляют в кабинет, где меня встречает бывший заключенный, поляк по национальности, и говорит, что он сообщил обо мне комиссии по освобождению. Я стою перед комиссией, состоящей из шести или семи человек. Мне сообщают, что на основании статьи такой-то я освобожден; меня поздравляют и говорят, что я могу идти.

Я выхожу на улицу, шатаюсь на собственных ногах, так как отсутствие кандалов, которые я носил восемь лет, нарушает равновесие моей походки. У выхода нас ждет огромная толпа, нас приветствуют возгласами: «Да здравствует освобождение политических заключенных!». Нас ведут к городской управе, где всех записывают и выдают документы. Затем нас направляют в покинутый госпиталь, предоставленный для заключенных, у которых нет возможности найти ночлег в Москве.

Это происходило 2 марта 1917 года. Я чувствую со всей полнотой этот первый день свободы и конец моих страданий.

Выпущенные на свободу «политические» могли оставаться в госпитале до того времени, пока Красный Крест не сможет предоставить им средства для возвращения домой. На комиссию возлагалась также обязанность отправлять в Крым, в санаторий освобожденных из заключения, которые были больны и нуждались в лечении. Мне посоветовали обратиться туда, поскольку это был как раз мой случай. Но сам я был убежден, что меня вылечить может только революционная буря. Именно в это время я повторил в памяти все размышления, накопившиеся за восемь лет моего заключения. Я хотел встретиться с товарищем Аршиновым, но он был слишком занят работой в комиссии по освобождению, в которой он заседал и занимался, в частности, освобождением тех, кто считался преднамеренно «уголовниками». Их приходилось зачастую вырывать в упорной борьбе, так как царское правительство имело обычай сажать как простых преступников тех, кто оказывал вооруженное сопротивление во время ареста.

Через четыре дня после освобождения я установил контакт с анархистской группой в Лефортово и присоединился к ней с несколькими товарищами по тюрьме. Мы с увлечением готовили всероссийскую демонстрацию трудящихся, в которой должны были принять участие анархисты. Так я познакомился с товарищем Худолеем (которого все звали тогда Владимиром). В то время он увлекался анархо-синдикалистом Новомирским-Кирилловским. Там я встретил также товарища Бармаша, присутствовавшего на одном из собраний группы и передавшего ей взнос в тысячу рублей на организационные нужды. Рабочей лошадкой Лефортовской группы был некий Алексей, который приложил много усилий, чтобы демонстрация удалась. Так и случилось.

Вначале я намеревался остаться в Москве и обосноваться там, но моя мать и мои товарищи по старой анархо-коммунистической группе Гуляй-Поля настойчиво просили меня вернуться. Мне сообщили, что кое-кто из группы остался в живых и хочет продолжать борьбу среди крестьян. Решение было принято. 20 марта 1917 [года] я попрощался с московскими товарищами и выехал в Гуляй-Поле, куда прибыл через день. Моя старая мать стала слабой, сгорбившейся, несчастной. Ей было уже более семидесяти лет. Она радовалась революции и рассказала мне, как погибли в борьбе за свободу мои товарищи. Я встретился также с многими товарищами, крепкими, полными искреннего желания их крестьянской души продолжить борьбу за широкое революционное поле, открытое для идеала обездоленного человечества: за анархо-коммунизм.